

Джованни Боккаччо, Ворон

Ворон или Лабиринт любви

Когда человек умалчивает о дарованных ему благах и держит их втайне, не имея на то весомой причины, он, по моему разумению, проявляет себя неблагодарным и недостойным этих благ. О, сколь мерзок, сколь нежелателен для Господа нашего, сколь низок в глазах людских такой поступок, подобный злобному пламени, иссушающему родник милосердия! И дабы никому не повадно было упрекать меня за такое сокрытие, я вознамерился рассказать в этом скромном сочинении об особой милости, ниспосланной мне отнюдь не за мои заслуги, а по благоволению матери божьей, вымолившей на то согласие у спасителя. Сделав это, я не только уплачу хотя бы часть долга, но также, без сомнений, сумею принести пользу моим читателям. А потому смиренно молю того, кто вложил мне в уста нужные слова и одарил величайшими благами, как это будет видно из последующего, чтобы он просветил мой разум и направил мою руку, позволив мне тем самым написать нижеследующее, ибо это принесет величайшую честь и славу его святому имени и послужит на пользу и утешение тем, кому случится прочесть эти строки, а иного быть не должно [[1] - То есть Боккаччо прямо заявляет, что назначение книги исключительно моральное.]

Однажды, немного дней тому назад, сидел я в своей одинокой келье, единственной свидетельнице моих слез, вздохов и сетований, погруженный, далеко не впервые, в размышления о превратностях плотской любви. Возвращаясь мыслями к тому, что уже миновало, обдумывая наедине с собой каждый свой поступок и каждое слово, понял я, сколь незаслуженно жестоко обошлась со мной та, кого я, безумец, избрал своей единственной госпожой, кого любил более самой жизни, кого почитал и ставил превыше всех. И когда мне ясно представились все обиды и оскорбления, нанесенные мне безо всякой моей вины, все во мне возмутилось и прежние вздохи, стенания и тихие слезы сменились горькими рыданиями. Охваченный глубокой скорбью, терзаясь то собственным безрассудством, то дерзкой жестокостью моей возлюбленной, я наконец пришел к заключению, что смерть менее страшна, нежели такая жизнь, и стал призывать ее в страстном желании умереть; долго и тщетно звал я, пока не понял, что она, беспощадная, бежит того, кто более всего к ней стремится, и решил, что силой заставлю ее увести меня из этого мира.

Но не успел я принять решение, как весь облился холодным потом и жалость к самому себе, а вместе с нею страх перед иной, еще худшей жизнью, ожидающей меня после этого поступка, охватили меня с такой силой, что тотчас же разрушили и уничтожили намерение, казавшееся столь твердым. Тогда я еще горше прежнего стал плакать и рыдать, и ко мне опять вернула жажда смерти, изгнанная было страхом перед ней. И вновь я прогнал ее, и вновь заливался слезами до тех пор, пока среди этого смятения меня не озарила мысль, ниспосланная, должно быть, самим небом, и мой измученный разум, исполнившись состраданием, стал рассуждать так:

О глупец! К чему привело тебя неумение, или, вернее, нежелание мыслить? Или ты по слепоте своей винишь других в жестоком с тобой обращении, не видя, что сам повинен в своих жестоких муках? Эта женщина, которой ты, сам того не заметив, подарил свою свободу, закованную в цепи, стала, по твоим словам, злополучной и горестной причиной твоих печальных размышлений. Ошибаешься: в тебе самом, а не в ней причина твоих мук. Объясни, каким образом она заставила тебя полюбить ее. Объясни, какое оружие, какие законы, какую силу она применяла, чтобы заставить тебя плакать и стенать. Не можешь ты этого объяснить, потому что этого не было. Может быть, ты скажешь: «Она должна была полюбить меня, ибо знала, что я ее люблю; а раз она меня не полюбила, она стала причиной моей скорби. Вот как она довела меня до слез и мучений и продолжает мучить». Но этот довод ничего не стоит.

Что, если ты попросту ей не нравишься? Как можно полюбить того, кто не нравится? А следовательно, если ты полюбил особу, коей ты не нравишься, не она виновата в

последующих твоих невзгодах, а только ты сам, ибо не сумел сделать правильный выбор. Итак, ты жалуешься, что тебя не любят, но причина этого в тебе самом. Зачем же винить другого, если сам причинил себе зло? Любой судья справедливо осудит тебя на суровую кару за то, что ты столь дурно обошелся с самим собой; но так как эта кара не послужит тебе утешением, а только прибавит страданий, незачем сейчас обращаться к правосудию.

Теперь разберемся, чем же ты так жестоко провинился перед собой? Человек совершает поступки либо па радость себе, либо па радость другим, либо на радость и себе, и другим, либо себе или другим на горе. Посмотрим, радость или горе принесли тебе поступки, совершенные тобой в ослеплении. Радости, без сомнения, не было, ибо останься ты доволен, ты бы сейчас не сетовал и не рыдал.

Остается узнать, было ли твое горе радостью или горем для других? Но других и в помине нет, кроме той, из-за кого ты страдаешь. Она же, несомненно, либо тебя любит, либо ненавидит, либо не чувствует ни того, ни другого. Ежели любит – твои страдания ее печалят и огорчают. А разве ты не знаешь, что, доставляя любимой печаль и огорчения, любви не добьешься и не удержишь, а только вызовешь отвращение и неприязнь? Непохоже, чтобы ты так дорожил любовью этой госпожи, как уверяешь, если с таким упорством поступаешь ей наперекор, да еще грозишься сделать кое-что и похуже.

Ежели она тебя ненавидит, а ты еще не окончательно обезумел, тебе следует откровенно признать, что осчастливишь ее, если повесишься как можно скорее. Или ты не видишь изо дня в день, как человек из ненависти к другому попирает законы божеские и человеческие и готов лишиться имущества и даже самой жизни, лишь бы растоптать ненавистного и стереть его с лица земли? И чем сильнее тот скорбит и печалится, тем больше веселье и ликование его врага.

Стало быть, ты плачешь, горюешь и сетуешь на счастье той, кто тебя ненавидит. А кто же, как не глупец, тот, кто радуется счастью своего врага? Ну, а если она не чувствует к тебе ни любви, ни ненависти и нет ей до тебя никакого дела, – кому тогда нужны твои слезы, вздохи и столь жгучие страдания? С таким же успехом ты мог бы взывать к балкам в потолке. Зачем же терзаться, зачем призывать смерть, которая тоже, по-видимому, невзлюбила тебя и не спешит на помощь? Видно, ты еще не познал всей сладости жизни, если сгоряча жаждешь расстаться с нею и не подумал, насколько вечные муки будут страшнее твоей сумасбродной любви; ибо любовные мучения, их сила, зависят от тебя самого и ты сможешь от них избавиться, как только решишься наконец стать мужчиной, а от вечных мук нет избавления.

Итак, прогони эту безумную жажду смерти, откажись от нее; не стремись лишиться в одночасье тою, чего еще не имел, заслужить вечную муку и тем самым осчастливить ту, кто тебя ненавидит. Постарайся дорожить жизнью и продлить ее, сколько возможно. Кто знает, доживешь ты или пет до того дня, когда твоя обидчица подаст тебе повод для смеха? Никто. Но одно ясно каждому – любая надежда на месть или иную отраду, доступную живому, отнимется у нас после смерти. Итак, живи, и если она, коварная, делает жизнь твою несносной и заставляет желать смерти, огорчи ее, в свою очередь, тем, что остался в живых!

Какие чудеса творит небесное утешение, когда нисходит в смертный разум! Мысль, посланная, как я думаю, милосерднейшим отцом и светочем жизни нашей, рассеяла мрак, застилавший мой рассудок, вернула ему острое и верное зрение, и тогда предо мною со всей ясностью предстало мое заблуждение и я не только устыдился его, но даже, исполненный раскаяния, заплакал и беспощадно стал бранить себя, понимая, что я еще ничтожнее, нежели ранее полагал. Но когда высохли слезы презрения и жалости к себе, я решил расстаться с уединением, вредным для нездорового рассудка, и вышел из своей кельи с лицом настолько спокойным, насколько позволяло пережитое мною душевное смятение. После недолгих поисков нашел я общество, наиболее полезное для человека, обуреваемого страстями; как было исстари у нас заведено, мы собрались в приятнейшем

для беседы месте и тотчас же принялись разумнейшим образом толковать о непостоянстве Фортуны и о глупцах, что бросаются в ее объятия, пылая желанием, и безрассудно вверяют ей все свои надежды, полагаясь на ее устойчивость. А затем перешли мы к извечным законам природы, к ее удивительному, достойному всяческого восхваления порядку, который тем реже вызывает наш восторг, чем чаще встречаем его в обычной жизни, сами того не замечая. После этого заговорили мы о законах божественных, из коих самая малая толика доступна пониманию мудрейших умов, настолько превышают они наш смертный разум. В таких возвышенных, прекрасных и благородных рассуждениях провели мы остаток дня; наступившая ночь вынудила нас прервать их, и я, насытившись пищей духовной, отогнав от себя и чуть ли не позабыв былую скорбь, спокойно вернулся к себе домой. Там вкусил я немного привычной пищи, а затем большую часть ночи припоминал сладость недавних бесед и с неизъяснимым наслаждением вновь и вновь мысленно возвращался к ним, пока наконец природа не взяла верх над приятными воспоминаниями, и я безмятежно уснул; и сои завладел моими чувствами тем сильнее, чем больше времени отняли у него отрадные мои мечтания.

И вот в то время как я крепко спал, враждебная Фортуна, не довольствуясь ударами, нанесенными мне наяву, вздумала терзать меня и во сне; и так как воображению, не подвластному сну, могут предстать любые видения, почудилось мне, что я иду по восхитительно красивой тропе, услаждающей зрение и остальные чувства более, чем все когда-либо виденное мною. Окружающая местность была мне незнакома, но меня это не тревожило, настолько хорошо там было. Право, чем дальше шел я вперед, тем больше радовался, ибо надежда подсказывала мне, что в конце пути меня ждет неизведанное доселе счастье. Я загорелся столь пылким желанием поскорее очутиться у цели, что не только ноги понесли меня бегом, но даже, мнилось, выросли за плечами быстролетные, чудом дарованные крылья, и я на них мчался все быстрее и быстрее, пока не увидел, что тропа изменила свой вид. Зеленые травы и бесчисленные цветы сменились тисовыми зарослями, крапивой, волчцами, чертополохом и тому подобными растениями; а обернувшись, я увидел, как мне вослед клубится туман, столь густой и темный, что вскоре ничего кругом не стало видно. Туман этот внезапно окутал меня, не только препятствуя дальнейшему полету, но и вовсе лишив меня надежды на обещанную усладу. Мне казалось, что я долго простоял неподвижный и растерянный, прежде чем решился наконец осмотреться и понять, где я нахожусь.

Тут туман стал редеть, а небо потемнело с наступлением ночи, и я понял, что полет занес меня в безлюдную пустошь, мрачную и суровую, заросшую дикими растениями, колючками и сучковатым кустарником, без тропы или дороги, окруженную крутыми и столь высокими горами, что, казалось, вершины их упираются в небо. Как ни смотрел я во все глаза, как ни напрягал свою мысль, я не мог попятить или догадаться, как я сюда попал и, что всего ужаснее, как я отсюда выберусь и вернусь в знакомые места. К тому же, куда бы я ни повернулся, со всех сторон неслись завывания, вопли и рыканье каких-то страшных зверей, коих, судя по виду местности, здесь водилось немало. Тут скорбь и страх в равной мере завладели душой моей; скорбь непрерывно нагоняла мне на глаза слезы, а на уста – вздохи и сетования. Страх мешал принять решение, к какой из гор направиться, дабы уйти из этой долины, ибо каждая из них, казалось, грозила смертью. Так стоял я, недвижим, без совета и помощи, не ожидая ничего, кроме смерти от голода или от клыков свирепого зверя, обливаясь слезами, среди колючего кустарника и иссохших растений и либо молчаливо сетовал па себя за то, что пустился в путь, не предвидя конца, либо взывал к помощи божьей.

И когда я совсем было утратил надежду и весь промок от слез, я увидел, как с той стороны, откуда над этой скорбной долиной восходит солнце, медленным шагом идет ко мне какой-то человек, один-одинешенек. Человек этот, как я разглядел, когда он подошел поближе, был рослым, смуглым и черноволосым, хотя годы частично и посеребрили его голову, ибо лет ему было на вид около шестидесяти или более того; был он сухощав и крепок, но чертами не очень приятен; на нем было длинное, просторное одеяние ярко-красного цвета, и, несмотря на сумрак, я заметил, что никогда столь яркий цвет не выходил из-под рук наших красильщиков. Человек этот, как я уже сказал, медленно приближался, вселяя в меня и страх, и надежду. Страх

вызывала мысль, что земля, где я очутился, принадлежит ему и он, негодуя на присутствие чужого, натравит на меня послушных ему зверей и велит растерзать меня в отместку за вторжение. Надежда же на спасение проистекала из того, что по мере его приближения мне открывалась кротость его лица; и чем больше я вглядывался в него, тем больше мне казалось, что я его уже видел, но не здесь, а в ином месте, и я говорил себе: «Должно быть, человеку этому знакомы здешние места и он укажет мне выход отсюда, а может быть, сам благосклонно проводит меня к этому выходу, если в нем теплится дух милосердия».

И пока я раздумывал таким образом, он, все еще безмолвствуя, приблизился ко мне настолько, что я окончательно рассмотрел его лицо и вспомнил, кто он таков и где я его видел; но тщетно напрягал память, дабы вспомнить, как его зовут, полагая, что если я, взывая к его милосердию и умоляя помочь, обращусь к нему по имени и тем самым покажу, что хорошо его знаю, я быстрее и вернее вызову у него желание исполнить мою просьбу.

Но в то время как я безуспешно силился вспомнить его имя, он приятным голосом назвал мое и добавил:

– Какая злая судьба, какой злой рок привел тебя в эту пустыню? Куда исчезла твоя прозорливость? Куда делась способность рассуждать? Ужели ты не видишь, если рассудок твой ясен, как прежде, что эта долина сулит смерть телу и, что того хуже, гибель духу? Зачем ты пришел? Как ты осмелился сюда явиться?

Услышав эти слова и поняв по выражению лица его, что он мне сочувствует, я не смог сладить с собой и ответить и проникся такой жалостью к себе, что снова зарыдал. Потом, когда эта жалость излилась в слезах, я собрался с духом и ответил слабым голосом и не без стыда:

– Думается мне, что обманчивый соблазн бранных радостей, который не раз сбивал с пути и толкал навстречу опасностям людей куда более рассудительных, чем я, привел меня сюда, не дав опомниться, и вот я стою в беспросветном мраке, охваченный непомерной скорбью и лишенный малейшей надежды. Но если Господь в милосердии своем позволил мне, недостойному, встретить тебя и если ты тот, кого я, мнится, уже много раз встречал в ином месте, и в тебе есть хоть капля человечности, то я заклинаю тебя любовью к нашей общей отчизне, а также именем создателя всего сущего – сжался надо мной и укажи, как мне выбраться из этой страшной долины; ибо я здесь вовсе обессилел и уже не знаю, жив я или мертв.

Он, как мне показалось, усмехнулся про себя, а затем молвил:

– По виду и словам твоим я тотчас же заключил бы, что ты потерял рассудок и не различаешь, жив ты или мертв, если бы уже не узнал об этом другим путем; будь ты в здравом уме, ты помнил бы, чьи очи озарили светом, как у вас говорится, тот путь, что казался столь прекрасным и привел тебя сюда; и, зная, чем были эти очи для меня, ты не осмелился бы умолять меня спасти тебе жизнь, а, напротив, завидев меня, бросился бы бежать, дабы не лишиться ее совсем. И будь я тем, кем был прежде, не помощь оказал бы я тебе, а напугал бы и прибил, ибо ты сделал все, чтобы это заслужить. Но с тех пор как я был отринут от вашей земной жизни, гнев мой сменился милосердием, и поэтому я не отвечу отказом на твою просьбу о помощи.

Я слушал его с величайшим вниманием, и когда он сказал: «Я был отринут от вашей земной жизни» – я внезапно понял, что он не тот, кем я его считал, а только тень его, и холодная дрожь пробрала меня до костей, а волосы стали дыбом; не в силах молвить слово, я только хотел бежать прочь, когда бы мог. Но как часто бывает во сие, когда чудится, что ты должен бежать, и ни за что не можешь пошевелиться, так случилось и со мной в моей грезе; казалось, ноги мои отнялись и я стою недвижим. Новый испуг был так силен, что я, наверное, проснулся бы, не будь мой сон столь удивительно крепок; и, скованный страхом, не зная, что сказать, что ответить, я не

двигался с места. Дух, видя это, молвил с улыбкой:

– Оставь сомнения; говори со мной откровенно, доверься мне, и я выведу тебя отсель, ибо у меня нет злобы против тебя.

Речи его привели мне на память все, что могут сделать души усопших па благо человеку, и это вернуло мне былое спокойствие; я поднял голову и смиренно взмолился, чтобы он поскорее вывел меня отсюда, пока ничто не препятствует; но он сказал:

– Еще не наступило время исполнить твою просьбу; знай, что доступ в сию долину открыт всякому, кого влекут сюда сладострастие и безрассудство, но уйти отсюда нелегко, и для этого тебе потребуются и разум, и мужество; а обрести их можно лишь с помощью того, кто повелел мне сюда явиться.

Тогда я молвил:

– Если у нас еще есть время и мы не спешим уйти, я бы хотел, если позволишь, кое о чем спросить тебя.

Он благосклонно ответил:

– Спрашивай, что хочешь, а там и я возьмусь за расспросы, да и сам немало расскажу тебе.

И я, не медля, сказал ему:

– Два вопроса в равной мере беспокоят меня, и каждый хочется задать первым, а потому я задам оба сразу: прошу тебя, ответь, что это за долина, служит ли она тебе пристанищем или же просто никто, однажды попав сюда, уже не может ее покинуть; а затем открой мне, по чьему велению ты сюда явился, дабы оказать мне помощь.

Он ответил:

– По-разному называют эту местность, и каждое название ей подходит; одни зовут ее Лабиринтом любви, другие – Очарованным долом, кто – Свинарником Венеры, а кто – Юдолью скорби и вздохов, и еще по-всякому, кто так, а кто этак, как кому придется по вкусу.

Она не является моим пристанищем, ибо смерть, навстречу коей ты стремишься, уже завладела мною и держит меня в узилище. По суровости своей оно не уступает этой долине, но зато не столь опасно, как она; и да будет тебе известно, что тот, кто по недомыслию попадет сюда, никогда не сможет уйти, пока свет небесный не придет ему на помощь; и тогда, как я говорил, потребуются ему и разум, и мужество.

Я сказал:

– О, молю тебя именем Господа, властного исполнить самые пылкие желания, ответь мне еще на один вопрос. Ты сказал, что обитаешь в каком-то месте, еще более суровом, нежели сия долина, но не столь опасном. Твои слова и собственная память подсказали мне, что ты уже не живешь в нашем мире. Где же ты пребываешь? Ужели ты навеки заключен туда, где нет надежд на искупление? Или находишься там, где надежда сулит тебе спасение, хотя бы отдаленное? Ежели ты заключен в той вечной темнице, то она, несомненно, страшнее этой долины; но как может она быть менее опасной? А если ты обретаешься там, где есть еще надежда на покой, что означают твои слова, будто там тяжелее, чем здесь?

– Я нахожусь, – ответил дух, – в том месте, где мне непременно будет ниспослано спасение. Вот потому оно менее опасно, чем эта долина, ибо того, кто тут согрешит,

ожидает еще худшая участь, а это постоянно случается. И тот, кто упорствует в грехе, а таких немало, будет заключен в глухую темницу, куда свет небесный никогда не проливает благодати и милосердия, но вечно пылает неумолимым и жестоким возмездием, па горе и беду всем, кому дано это видеть и понять.

Нет сомнений, место моего пребывания, как я сказал, настолько мрачнее, нежели эта долина, что если бы радостная надежда на будущее не помогала мне и другим подобным страдальцам, там умирали бы даже бессмертные духи. И дабы ты хоть отчасти понял, какова моя доля, узнай, что одежда, удивившая тебя при нашей встрече и не похожая на ту, что я носил среди живых, ибо у вас так одеваются люди, достигшие высокого положения, не соткана руками человеческими, но сотворена из небесного пламени, столь яростного и жгучего, что земной огонь, по сравнению с ним, холоден как лед. Пламя это иссушило меня в такой степени, что ни уголь, ни камень, обожженные в ваших печах земным огнем, не уподобятся по сухости моему телу. Поэтому жажда моя тай неистова, что если бы все ваши реки слились воедино и потекли в мою глотку, они утолили бы ее не более, чем жалкий ручеек. Несу я такую кару по двум причинам: одна – это безмерная алчность к деньгам, коей пылал я при жизни, другая – недостойное терпение, с которым я сносил подлые и бесчестные поступки той, кого тебе лучше было бы никогда не видеть. А теперь оставим до времени разговоры о тяготах моего обиталища, коим поистине уступают здешние, если не считать, что тут все творится во вред, там же все идет на благо.

Сейчас я тебе отвечу на второй вопрос, чтобы вернуть силы твоей оробевшей душе: да будет тебе известно, что разрешил мне, а вернее – повелел, сюда явиться преблагой создатель всего сущего, тот, по чьей воле все в мире живо и кто печется о вашем благе, вашем покое, вашем спасении заботливее, нежели вы сами.

Не скрою, едва я услышал эти слова и понял грозившую мне опасность и милосердие того, кем был послан дух, я почувствовал, как душа моя исполнилась величайшего смирения и я постиг величие и всемогущество Господа нашего, его извечное постоянство и неизменную ко мне доброту и вместе с тем узрел себя, подлого и слабого, неблагодарностью и бесчисленными обидами отплатившего тому, кто сейчас, как и прежде, не покидает меня в нужде, невзирая на мои прегрешения, и не отказывает в милостях и щедротах. Подавленный безмерным сокрушением и раскаянием во всем, содеянном мною, я почувствовал, что не только глаза мои исторгают потоки слез, но и самое сердце исходит влагой, как снег под солнцем; долго безмолвствовал я, не умея воздать благодарность за великие дары, ниспосланные мне, и казалось, что дух понимает причину моего молчания; наконец я сказал:

– О блаженный дух! Заглянув в собственную совесть, я понял, как верны твои слова, что Господь более заботится о нас, смертных, чем мы сами, ибо мы по своей же вине постоянно погружаемся все глубже в пучину, а он с бесконечным состраданием вновь и вновь извлекает нас оттуда, раскрывает перед нами прекрасное царствие свое и, как любящий отец, зовет нас к себе. И в то же время я, все еще измеряя божественную доброту земной мерой, недоумеваю, как может он и сейчас поддерживать меня, столь жестоко обидевшего его.

На это дух ответил:

– Поистине, из речей твоих явствует, что ты не постиг еще сущности небесной доброты и полагаешь, будто она, совершеннейшая, подобна в делах своих вам, смертным, изменчивым и несовершенным; ведь вы-то не успокоитесь, пока не отплатите великой мезью за любую мелкую обиду. Но если ты искренне раскаялся, смирился и готов впредь внимательно слушать мои наставления, я охотно открою тебе одну из причин, по коим небесная доброта послала меня сюда, дабы облегчить твою горькую участь. В тот час, когда мне это повелел не человеческий, но ангельский голос, не ведающий лжи, я узнал, что ты всегда, каковы бы ни были твои заблуждения, благоговейно чтил ту, кто принесла на спасение во чреве своем и пребывает живым источником милосердия, матерью благодати и сострадания; к ней стремился ты, как к вечному пределу, на нее

возлагал свои надежды. Все это видела она своими божественными очами, а потому, узрев тебя в этой долине, вконец измученного, растерянного и обессиленного, едва ли не потерявшего рассудок, и зная грозящую тебе опасность, она, милосердная, всегда готовая помочь в нужде тем, кто ей предан, не ожидая их мольбы, не стала дожидаться и твоей, обратилась к сыну своему и вымолила тебе прощение. По ее заступничеству мне было велено прийти к тебе, что я и сделал. И расстанусь с тобой не ранее, чем выведу тебя отсюда в свободные и вольные края, куда ты охотно последуешь за мной.

Когда он умолк, я сказал:

– Ты ответил мне на все вопросы; теперь, узнав, как ты сносишь возмездие господне и силишься исправиться ему в угоду, я проникся состраданием к тебе и жажду облегчить твои муки, если только это в моих силах; но вместе с тем я радуюсь, ибо понимаю, что ты не осужден на вечные страдания в аду, а напротив, претерпев заслуженную кару, вознесешься в сияющее царство небесное. Доброта и милосердие той, кем ты послан мне на благо в сию долину превратностей, давно мне известны; она уже не раз спасала меня от тяжких бед, а я, неблагодарный, слишком редко возносил ей хвалу. И я смиренно молю ее не оставлять меня и впредь и не только избавить от вечной гибели, но и направить на путь к вечной жизни и постоянно поддерживать на этом пути, пока я жив и пребываю ее преданнейшим рабом.

Но заклинаю тебя ее именем, ответь мне еще на один вопрос: живут ли в этой долине, различные названия которой ты перечислил, не остановясь ни на одном, люди, некогда состоявшие при дворе Любви и, подобно мне, отринутые ею и сосланные сюда в изгнание, или же эту землю населяют одни только звери, всю ночь завывавшие вокруг меня?

Дух ответил улыбаясь:

– Вижу, что лучи истинного света еще не озарили твой рассудок и ты, как многие глупцы, считаешь за высшее блаженство то, что на деле гнусно и ничтожно, и думаешь, будто ваша сладострастная плотская любовь приносит какое-то благо; выслушай же внимательно мои слова.

Эта долина скорби есть не что иное, как упомянутый тобою двор Любви, а завывают вокруг тебя несчастные, попавшие, как и ты, в сети любовных обманов. Когда они говорят о своей так называемой любви, до слуха людей разумных и благонамеренных доходят только звуки, услышанные сейчас тобой; я ранее и назвал эту долину Лабиринтом, ибо однажды попавшие сюда блуждают без надежды выбраться. Поэтому твой вопрос удивил меня – ведь мне известно, что ты уже неоднократно бывал здесь, хотя еще ни разу тебе не грозила такая опасность, как теперь.

Исполненный сознанием своей вины, признавая всю правду его речей и почти что придя в себя, я ответил: – Да, я не раз бывал здесь, но по воле более счастливого случая, как полагают иные развращенные умы. И теперь припоминаю, что выходил отсюда с чужой помощью, а не по милости собственного рассудка; но я натерпелся здесь таких мук и такого страха, сводившего меня с ума, что потом и не помнил, где побывал, будто и вовсе не был. Ныне мне стало понятно без дальнейших пояснений, какая сила обращает людей в зверей и что означает сия дикая местность, ее многообразные названия и отсутствие здесь какой-либо дороги или тропы.

– Наконец-то, – сказал дух, – сумерки, окутавшие твой разум, начинают редеть и рассеялся страх, охвативший тебя до моего прихода, а поэтому в ожидании света, который поможет тебе найти выход отсюда, мне хочется еще немного поговорить с тобой; и если бы природа этой местности допускала, я предложил бы присесть, ибо вижу, что ты устал; но так как это невозможно, мы поведем беседу стоя. Я знаю (но даже если бы не знал, я тотчас понял бы по твоим речам и по пребыванию твоему в сей долине), что ты отчаянно бьешься в когтях любви; мне известно также, кто тому причиной. И тебе, должно быть, стало ясно, что я это знаю, когда я упомянул, если

помнишь, о той, кого тебе лучше бы было никогда не встречать. А теперь, прежде чем продолжать, попрошу, чтобы ты не стыдился меня, хоть я и любил ее более, чем приличествует; говори со мной о ней спокойно, с открытым лицом, так, будто я всегда был ей чужим. И в благодарность за мое сострадание к твоим горестям расскажи, прошу тебя, как ты попал в ее сети.

И я, отбросив всякий стыд, ответил:

– Раз ты просишь меня, я поведаю тебе то, в чем открылся только одному верному другу да еще поверял ей самой в моих письмах и что не осмелился бы рассказать тебе, если бы не твое великодушие; надеюсь, мой рассказ тебя не смутит, ибо, по законам нашей церкви, жена твоя обрела свободу после того, как ты расстался с земной жизнью, и ты не можешь обвинить меня в посягательстве на твою собственность.

Но оставим эти, неуместные сейчас, рассуждения и перейдем к тому, о чем ты спросил: итак, несколько месяцев тому назад разговорился я на свою беду с неким твоим соседом и родичем, чье имя незачем называть. В беседе нашей, как это часто бывает, переходили мы с одного предмета на другой, пока наконец не зашел разговор о выдающихся женщинах. Поначалу восхваляли мы тех, кто жил в древности, кого за целомудрие, кого за величие души, а кого и за силу тела; потом перешли к нашим современницам. Среди них мало нашлось достойных хвалы, однако мой собеседник назвал нескольких женщин из нашего города и среди них ту, что прежде была твоей женой, а мне еще не была знакома. Лучше бы мне и впредь не знать ее! Он же, движимый не знаю уж каким чувством, принялся всячески превозносить ее, уверяя, что никто не сравнится с ней великодушием, будто она некий Александр женского рода, и привел различные примеры ее щедрости, которые я не стану повторять, дабы не тратить попусту времени па эти побасенки. К тому же, добавил он, природа наделила ее столь здравым умом, какого не встретишь у женщины. Да и в красноречии она не уступает любому блестящему и умелому ритору; и еще, что мне, легковерному, особенно пришлось по душе, она-де хороша собой, обходительна и вообще исполнена всяческих достоинств, какие только могут украсить знатную даму. Пока он так разглагольствовал, я, признаюсь, думал про себя: счастливец тот, кому благосклонная Фортуна подарит любовь столь совершенной дамы!

И, втайне приняв решение попытать счастья на этом поприще, я стал расспрашивать, как ее имя, какого она звания, где живет, – как оказалось, жила она уже не там, где ты ее оставил; на все мои вопросы я получил подробнейший ответ. На этом мы с ним расстались, и я задумал немедля повидать ее, надеясь, что она согласится на знакомство со мной и затем станет моей возлюбленной госпожой, а я – ее верным слугой. Не мешкая, направился я туда, где рассчитывал найти и увидеть ее в этот час; Фортуна, казалось, мне благоприятствовала (чего никогда не бывало, да и на сей раз она тоже действовала мне во вред), и все мои предположения сбылись наилучшим образом. И вот что удивительно, скажу тебе: не было у меня никаких примет ее, кроме черной одежды, но едва я увидел ее среди многих женщин, одетых точно так же, едва лицо ее предстало моим глазам, как я тотчас же понял, что предо мной та, кого я ищу. Но так как я всегда считал и продолжаю считать, что любовь, о которой известно другим, либо принесет тысячу невзгод, либо не увенчается желанным успехом, я решил никому не открываться в своем чувстве и даже друга, коему впоследствии поведал самые сокровенные тайны, побоялся спросить, она ли это. Однако Фортуна, не слишком баловавшая меня в дальнейшем, вторично пришла мне на помощь, и я услышал, как позади меня какая-то женщина заговорила о ней с подругами в таких словах: «Ах, посмотрите, как донне такой-то к лицу белые лепты и черное платье!»

Одна из приятельниц, незнакомая с той, о ком шла речь, спросила на радость мне, навострившему уши на их разговор: «О которой из дам ты говоришь? Их так много!» На что собеседница ответила: «О той, что сидит третьей вон там, па скамье». Тут я понял, что догадка моя верна, и с этого часа повел счет своему знакомству с нею. Лгать не стану: увидев, как она стройна, а затем обратив внимание на ее походку и телосложение, я тотчас же пришел к заключению, увы, ошибочному, что мне не только



сказали о ней сущую правду, но еще и умолчали обо многих ее достоинствах. Будучи весь во власти своего заблуждения, я почувствовал, как рассказ о ней и сам вид ее зажгли в моем сердце такое жаркое пламя, каким пылают смазанные маслом предметы, так что любой, заглянув мне в лицо, тотчас мог бы увидеть его отблеск; но недолго лицо мое полыхало жаром, ибо огонь, как это обычно бывает, облизнув поверхность, ушел в глубину и я почувствовал, как он разгорается там еще пуще.

Так я рассказывал о той, что па беду пленила меня своей коварной, умело подправленной красотой, сулившей мне будущие радости.

Дух выслушал меня, казалось, не без удовольствия, а затем молвил:

– Ты хорошо рассказал, как и почему ты сам себе накинул на шею петлю, в которой все еще бьешься. Теперь, если не трудно, поведай мне, открыл ли ты ей наконец свою любовь (хотя я заранее уверен, что так; оно и было) и подала ли она тебе надежду, что должно было разжечь тебя куда более, чем поначалу разожгло собственное желание.

Я ответил:

– Не хочу ничего скрывать (да и не смог бы, если бы даже хотел, ибо понимаю, что тебе, уж не знаю откуда, но все про меня известно). Итак, я полностью уверился, как уже говорил, в правоте моего собеседника, почитавшего ее столь замечательной женщиной, и решил написать ей, рассуждая так: если она такова, как он говорит, и я честно открою ей в письме свои чувства, случится неизбежно одно из двух: либо моя любовь будет ей приятна и желанна и она ответит мне тем же, либо она будет ей приятна, но нежеланна и она осторожно даст мне понять, чтобы я не надеялся.

В ожидании того или другого и уповая на первое более, чем на второе, я излил все свои пылкие чувства в письме, выразив их словами, какими приличествует говорить о таком предмете. На мое письмо она ответила короткой записочкой, где ни словом не обмолвилась о моей любви, но весьма нескладно и притом чуть ли не в стихах (хотя вряд ли это можно было назвать стихами, ибо одна стопа была предлинной, а другая совсем короткой) просила сказать, кто я такой. Более того: в этой записочке она умудрилась высказать философскую, но вовсе ошибочную мысль о переселении души от одного человека к другому, о чем, должно быть, узнала от какого-нибудь проповедника, но не от учителя и не из книг. Тут же она сравнивала меня с неким прославленным мужем, видимо желая мне польстить, и добавляла, что более всего ценит в людях ум, доблесть и любезность в сочетании с благородным происхождением. И суть, и форма письма не оставляли сомнений в том, что человек, столь горячо расхваливший ее природный ум и изысканное красноречие, либо сам обманывался в них, либо хотел обмануть меня.

Однако пламя, бушевавшее во мне, вовсе от этого не погасло и даже не стало менее жгучим; я понимал, что цель записки – подтолкнуть меня на новые письма, в которых я, в надежде на более подробный ответ, стану изоощряться в искусном владении всеми качествами, что ей по нраву. И я, сознавая, что не могу похвастать ни умом, ни доблестью, ни родовитостью (что касается любезности, то при всем желании ее негде было проявить), решил тем не менее сделать все возможное, дабы заслужить ее милость. Поэтому я написал ей, выразив, как умел, свою радость по поводу ее записки; но так и не дождался ответа, ни письменного, ни устного, через посланца.

Дух спросил:

– Если дело дальше не пошло, почему же ты вчерашним днем заливался слезами и с такой глубокой скорбью призывал смерть?

И я ответил:

– Быть может, лучше было бы умолчать, но я не могу ответить тебе отказом. Две

причины довели меня до предела отчаяния: во-первых, я увидел, как заблуждался, почитая себя существом разумным, в то время как оказался ничем не лучше бессмысленного животного; и это не могло не взволновать меня, ибо большую часть жизни я собирал знания, а когда в них пришла нужда, увидел, что ничего не знаю; а во-вторых, я понял, что она открыла другим мою любовь, и за это счел ее самой жестокой и коварной из женщин.

Возвращаясь к первой причине моей печали, скажу, что я постиг, как глупо вел себя, когда с такой готовностью поверил, будто женщина способна обладать столь высокими достоинствами, и, не успев глазом моргнуть, запутался в сетях любви, подарил женщине свою свободу и подчинил ей рассудок; а без них обоих душа моя утратила былую власть и стала жалкой рабой. И ты, да и любой другой согласится, что это достаточный повод для смертельного отчаяния.

Второй причиной столь жестоких страданий было разочарование в моей возлюбленной и бессовестная ложь приятеля, столь пространно заверявшего меня в ее неприступной добродетели, ибо мне стало известно, что некто, прозванный соседями вторым Авессаломом [[2] - Во времена Боккаччо библейский Авессалом воспринимался как образец красоты, подобно тому как Самсон – силы и Соломон – мудрости.], не за красоту, а за то, что мнил себя красавцем, уже завладел ее любовью. И она, дабы стать ему еще милее, показала ему мои письма и вместе с ним глумилась надо мной, как над роконосцем; он-то и разболтал всем обо мне в свойственных ему выражениях; он-то, клянусь тебе тем, что я сейчас нахожусь здесь, сочинил в ответ на мое письмо ту самую записочку, чтобы обрести еще больше пищи для своих вымыслов. Более того, я собственными глазами видел, как она, посмеиваясь, указывала на меня и, должно быть, приговаривала: «Видали дурака? Это мой поклонник. Вот счастье-то мне привалило!»

Дамы, которым она па меня указала, были, несомненно, женщинами порядочными, это известно и мне, и другим, но она, как и следовало ожидать, наговорила им обо мне с три короба, точно так же, как ее любовник – мужчинам. Увы, до чего же грустно и постыдно, когда человек, пусть не знатный, к таковым я себя не причисляю, но сызмальства привыкший к общению с людьми достойными и к тому же хорошо, хоть и не досконально, знакомый с жизнью, предстает в виде сумасшедшего, которого какая-то женщина показывает другим, то строя рожи, то тыча пальцем! Скажу тебе правду: это вызвало во мне такое негодование, что я чуть было не произнес вслух весьма нелестные для нее мысли; но вовремя удержался, поняв, благодаря случайному проблеску разума, что подобное высказывание осрамит меня самого более, чем ее, и вот так-то, кипя возмущением, я и дошел до исступленной, противоестественной жажды смерти, о чем ты меня и спрашивал.

Дух, который слушал меня внимательно и, казалось, угадывал мои мысли раньше, нежели я успевал облечь их в слова, что-то пробормотал про себя и погрузился в раздумье. Затем, обратив ко мне лицо, ласково заговорил:

– Я хорошо понял из твоих речей, как и в кого ты влюбился и что привело тебя в такое отчаяние. Теперь, если не возражаешь, я хотел бы, на благо тебе и, возможно, другим, перейти в нашей беседе к той, кого ты без памяти полюбил, вовсе ее не зная; а в конце, если достанет времени, поговорим о том, что явилось причиной твоих столь жестоких страданий, едва не помутивших твой рассудок. Итак, как договорено, начну с того, что у меня, да и у многих других, нашлось бы немало доводов, которые можно привести тебе в укор, однако я не стану перечислять все, дабы не затягивать наш разговор, и упомяну только два из них: во-первых, твой возраст, во-вторых – род твоих занятий; то и другое, каждое в отдельности и оба вместе, должны были научить тебя осмотрительности и предостеречь от любовных соблазнов; я говорю в первую очередь о возрасте, ибо, если меня не обманывают твои побелевшие виски и седая борода, тебе давно пора разбираться в житейских делах; из пеленок ты вышел сорок лет тому назад, и минуло не менее двадцати пяти с тех пор, как ты начал постигать жизнь. И если многочисленные любовные труды в юности не послужили тебе достаточным уроком, то теперь, поостыв с годами и стоя на пороге старости, ты мог бы наконец

протереть глаза и увидеть, до какого падения тебя мало-помалу доведет эта безумная страсть, и подумать к тому же, хватит ли у тебя потом сил подняться. И если бы ты сумел спокойно пораздумать над этим, ты бы сообразил, что женщинам для любовных сражений потребны люди молодые, а не те, чья старость уже не за горами, и уяснил бы себе, что лживые соблазны, порожденные страстью к женщине, опасны даже для юношей, а для тебя и подавно. Разве тебе, человеку зрелому, подходит и приличествует плясать, петь, сражаться на турнирах – словом, заниматься делами бессмысленными, но весьма любезными женщинам? Ты сам тотчас же согласишься с тем, что все эти забавы не для тебя, и даже найдешь немало слов в осуждение юношей, что им предаются.

Пристойно ли в твои годы красться ночью, переодетым, тайком, в такой час, какой взбредет в голову женщине, которая вдобавок не даст тебе самому выбрать подходящее и безопасное место встречи, а назначит свидание там, где сможет, подлая и бесстыжая, похвалиться перед всеми, что пожилой человек бежит за ней, как мальчишка? Пристойно ли в твои годы хвататься за оружие, чтобы отстоять свою жизнь или свою даму, как это часто бывает в любовных приключениях? Полагаю, этих примеров достаточно, чтобы ты признал все это для себя негодим; а если ты, по слабости своей, не признаешь, то любой другой, более благоразумный, чем ты, подтвердит справедливость моих слов. Следовательно, в твои годы влюбляться вовсе неприлично; нельзя идти на поводу у страстей и подчиняться им, когда они застигнут тебя врасплох, а должно, напротив, уметь противостоять им; тогда твои добродетельные творения еще приумножат твою добрую славу и открытый веселый лик твой послужит наилучшим примером для молодых.

Теперь приступаю ко второму доводу – почему, если не ошибаюсь, любовь является для тебя делом неподобающим, безразлично, молод ты или стар, – это твои занятия. Мне было известно еще в бытность мою среди живых (а ныне я в этом окончательно убедился), что ты никогда не был обучен ремеслу, а торговля внушала тебе отвращение; и ты не раз хвалился перед самим собой и другими складом своего ума, непригодного к занятиям, за которыми люди с годами стареют, в то время как разум их, что ни день, отступает назад, в младенчество. А происходит это оттого, что стоит торговцу нажать состояние благодаря верному расчету или, чаще всего, по воле случая, и он уже воображает, будто все знает куда лучше других, хотя знает-то он, невежда, только одно – расстояние от склада или лавки до дому. Каждому, кто пытается это ему втолковать, он возразит, не задумываясь и торжествуя, будто взял верх: «Меня не проведешь!» или: «Я на три вершка под землей вижу», ибо ничего другого не знает, кроме как надуть да наживаться.

Итак, занятия божественной наукой, философией, сизмальства прились тебе по вкусу гораздо более, чем хотелось бы твоему отцу [[3] - Очевидно, автобиографический мотив. Отец Боккаччо мечтал сделать из сына коммерсанта, но не преуспел. Ничего не вышло и из занятий сына каноническим правом.], в особенности же привлекал тебя тот ее раздел, что относится к поэзии; но занимался ты ею скорее по склонности сердечной, а не из стремления воспарить умом ввысь. А между тем именно сия наука, не последняя в числе других, должна была бы тебе показать, что такое любовь, что такое женщины и что такое ты сам и все, что с тобой связано. Тебе следовало бы знать, что любовь иссушает душу, сбивает с пути рассудок, притупляет, а то и вовсе отнимает память, губит способности, ослабляет тело, грозит бедой юности и старости, убивает, порождает все пороки, поселяется в опустошенном сердце, не знает ни меры, ни порядка, ни верности, развращает нездоровый ум и ввергает в пучину человеческую свободу. О, сколь многого следует опасаться не мудрецам, а глупцам!

Стоит окинуть мысленным взором древнюю историю и современность, и ты тотчас увидишь, сколько бедствий, пожаров, смертей, разгромов, крушений и убийств породила сия злосчастная страсть! А ведь среди вас, жалких смертных, есть немало безумцев, в том числе и ты, что зовут ее божеством, взывают к ней в час нужды как к могущественному защитнику и, жертвуя рассудком, возносят ей благоговейные молитвы. Напомню тебе, коль ты совсем утратил способность мыслить, что подобные твои поступки, будь то в прошлом, настоящем или будущем, наносят обиду Господу, и твоей

науке, и тебе самому. Но уж если тебя ничему не научила философия и на память не приходит собственный опыт и все, что тебе довелось пережить, вспомни, что у тебя день-деньской перед глазами творения древних мастеров, украсивших стены изображением юного лучника с повязкой на глазах, обнаженного и крылатого, и вдумайся в глубочайший смысл этого образа.

И все же твои занятия открыли бы тебе глаза на женщин, если бы ты этого хотел; чуть ли не все они мнят себя дамами и требуют, чтобы их так называли, однако очень немногие являются таковыми. Женщина – существо несовершенное, одержимое тысячью отвратительных страстей, о которых и думать-то противно, не то, что говорить. Если бы мужчины ценили женщин по заслугам, они находили бы в общении с ними ровно столько же радости и наслаждения, как в удовлетворении других естественных и неизбежных потребностей; и так же поспешно, как покидают место, где освободились от излишней тяжести в животе, бежали бы прочь от женщины, выполнив то, что требуется для продолжения рода, как и поступают животные, куда более мудрые в этом смысле, нежели люди. Нет существа более неопрятного, чем женщина; уж на что свинья любит грязь, но и она с женщиной не сравнится. Пусть тот, кто со мной не согласен, посмотрит, как они рожают, заглянет в потаенные уголки, куда они прячут, застыдясь, мерзостные предметы, которыми орудуют, чтобы избавиться от ненужной телу жидкости. Но оставим пока что разговор об этой стороне дела; сами-то женщины все это отлично за собой знают, а потому и считают последним дураком каждого, кто их любит, желает и преследует; и так ловко умеют прикидываться чистехами, что глупцы, которые судят только по поверхности, ни о чем подобном не помышляют и не догадываются; но есть и такие умники, кому все досконально известно, но у них хватает наглости выражать свой восторг вслух и хвалиться, что то-то сделали, а то-то еще сделают; а сколько тех и других – не перечить.

Поговорим теперь об остальных свойствах женщин, вернее о некоторых из них, ибо если захочешь перечислить все, тебе не хватит и целого года, несмотря на то, что он только-только вступает в свои права [[4] - Речь идет о марте или конце февраля, так как, согласно флорентийскому календарю, новый год начинался 25 марта.]. Все они исполнены коварства, но оно ничуть не вытесняет остальных недостатков, а напротив, содействует их расцвету, как того настойчиво требует подлая и низменная женская природа. Первая забота женщин – как бы половчее раскинуть сети для мужчин, а для этого они без меры мажутся и красятся, не довольствуясь естественной красотой и приятностью своей наружности. И вот с помощью серы или особо приготовленной жидкости, а чаще всего под действием солнечных лучей волосы, черные от рождения, превращаются в золотистые; потом их заплетают в косу длиной чуть ли не до пояса, либо распускают по плечам, либо закручивают на макушке, как кому больше по вкусу. Порой, хоть и не всегда, к этим соблазнам добавляют танцы и пение – и вот несчастный, не заметив крючка под наживкой, уже попался на удочку, и нет ему спасения. Не одной, не двум, а несметному числу женщин удалось таким образом подловить мужа, немало есть и таких, что завели себе дружков.

Не успеет женщина достигнуть этого высокого положения, как тотчас же в ней пробуждается надежда и страстное желание забрать в руки власть, хотя она отлично сознает, что рождена рабыней; прикинувшись послушной и кроткой смиренницей, она кланчит у злополучного мужа то кольцо, то пояс, то шитые золотом ткани, то беличий мех – словом, всяческие наряды и побрякушки, и щеголяет в них день-деньской; а мужу и невдомек, что все это – оружие, необходимое женщине, дабы сразиться за власть и победить. И вот когда она наконец разряжена в пух и прах, а покои ее убранством едва ли отличаются от королевских и горемыка муж уже бьется в капкане, она чувствует, что превратилась из рабыни в равноправную подругу, и начинает борьбу за господство, и принимается безобразничать, чтобы проверить, стала ли уже хозяйкой в доме, рассудив, что если муж стерпит от нее то, чего не стерпел бы от служанки, она, без сомнений, сможет считать себя хозяйкой и госпожой.

Перво-наперво заводит она новомодную одежду, невиданные, разжигающие похоть прикрасы, непристойную роскошь; каждая полагает, что не добьется восхищения и

почета, пока манерами, ужимками и поведением не уподобится продажной девке. Стоит какой-нибудь шлюхе появиться в городе в новейшем и неприличном наряде, как его тотчас же переймут те, кого мужа почитают за образец добродетели. Муж, потративший деньги на этот хлам, вовсе не думает, что выбросил их на ветер, напротив, он потакает жене во всех ее причудах, не глядя, какую цель должны поразить сии стрелы. Когда же вследствие такого попустительства дом окажется во власти лютых зверюги, несчастный познает это на себе. Жена, быстроногая и голодная волчица, живо присвоит его родовое имущество, все его добро и богатство, разведет сплетни, переругается со слугами, служанками, приказчиками, братьями и сыновьями мужа, якобы заботясь о его деньгах, а на деле мотая их без счета; мало того, она будет распинаться в нежных чувствах к мужу, хотя ей на него наплевать, и никогда не даст ему спокойно уснуть; ночь проходит в ссорах и раздорах, причем жена, не переставая, твердит: «Знаю, знаю, как ты меня любишь; только слепая не заметит, что другие тебе больше по вкусу, чем я; ты, должно быть, думаешь, что я и впрямь ослепла, не вижу, за кем ты бегаешь, кого любишь, с кем целый день болтаешь? Знаю я вез прелестно; тебе и не снится, какие у меня соглядатаи. Бедная я, бедная! Столько времени с тобой живу и ни разу не слышала, когда ложусь в кровать: „Добро пожаловать, любовь моя!“ Но вот-те крест святой, я отплачу тебе тем же. Неужто я такая неказистая? Неужто она лучше меня? Знаешь что я тебе скажу? С двумя целуешься – стало быть, с одной сладко, с другой тошно. Сейчас же отодвинься! С божьей помощью я тебя сегодня близко не подпущу; ступай обратно к ней, ты ей как раз под стать, а не мне; погляди на себя, каков ты есть? Смотри, отольются волку овечьи слезки! Ты ведь меня не в грязи подобрал. Один Господь знает, сколько мужчин, да еще каких, сочли бы за великое счастье взять меня в жены без приданого, и была бы я у них в доме полновластной хозяйкой; а тебе я принесла столько-то сотен золотых флоринов, и даже стакана воды самовольно налить не могу, чтобы не послушаться попреков от твоих братьев да прихлебателей; можно подумать, будто я у них в услужении. На беду я тебя когда-то увидела, пусть ноги отсохнут у того, кто нас свел!»

Вот такими и еще более обидными словами, безо всякого законного или справедливого повода к тому, терзает жена несчастного мужа ночь напролет; и многие мужа выгоняют из дому кто отца, кто сына, расстаются с братьями, не пускают на порог мать или сестру, и поле сражения остается за победительницей. А она, видя, что перевес на ее стороне, уделяет все свое внимание сводням и любовникам. И да будет тебе известно, что самая чистая, самая, на твой взгляд, честная из всего этого проклятого бабья скорее согласится иметь один глаз, чем одного любовника; и уже неплохо, если она остановится на двух или трех; и даже терпимо, будь эти двое или трое лучше мужа или по крайней мере не хуже. Но женская похоть пламенна и ненасытна, и потому ее устраивает любое качество и любое количество: слуга, работник, мельник или черный эфиоп – все хороши, только бы у них силы хватало.

Иные женщины, как я уверен, посмеют отрицать то, что каждому известно, а именно что в отсутствие мужа или покинув его, крепко спящего, они нередко бегают в дома свиданий, переодетые в чужое платье, и возвращаются оттуда усталыми, но не удовлетворенными. На что они только не идут, чтобы утолить свое животное любострастие! А в то же время прикидываются робкими и боязливыми всякий раз, когда надо повиноваться мужу, как того требуют приличия; взглянуть вниз с высоты не могут – закружится голова; окунуться в море не решаются – заболит живот; выйти в темноте на улицу – упаси боже, боятся духов, видений, призраков. Мышь пробежит по комнате, ветер стукнет ставней, камешек упадет с крыши – и вот они дрожат, бледнеют, обмирают, будто перед лицом смертельной опасности.

Но зато как они бесстрашны, когда им надо обделять свои бесчестные делишки! Сколько было и есть женщин, что крадутся по крышам домов, дворцов и башен, когда их призывают и ждут любовники! Сколько было и есть таких, что прибегают к хитрейшим уловкам, чтобы целый день, иногда под носом у мужа, прятать любовника в корзине или в ларе, сколько таких, что кладут его в ту же кровать, где спит муж! Сколько женщин пробираются по ночам, одни-одинешеньки, то мимо вооруженной стражи, то по морским

волнам, то по церковному кладбищу, упорно следуя туда, где их обработают! Всего же позорней, что не перечесть тех, кто забавляется с любовником на глазах у мужа. А как много таких, что, убоявшись или устыдившись своих мерзостных заблуждений, губят плод греха, не дав ему родиться! Потому-то злополучный можжевельник и выделяется, вечно ободранный, из остальных деревьев, хотя женщины знают еще тысячу разных способов, как избавляться от нежеланных детей. Сколько их, родившихся помимо желания матери, оказываются брошенными на волю случая! Стоит только заглянуть в приюты для подкидышей! Сколько младенцев гибнет, еще не вкусив материнского молока! Скольких бросают в лесу, сколько из них достается в добычу зверям и птицам! Не перечесть всех способов, какими от них избавляются, а потому, если хорошенько вдуматься, наименьшим грехом этих женщин является утоление похоти.

Помимо этого, никто не сравнится по злобности и подозрительности с омерзительным женским полом; стоит женщине с кем-то поговорить, будь то сосед, родственник или друг, ей тут же придет в голову, будто собеседник что-то замышляет и строит ей козни; впрочем, нас не должна чрезмерно удивлять такая подозрительность, ведь естественно ждать, что с тобой поступят точно так же, как поступаешь ты. Вот почему воры так тщательно прячут собственное добро. Все помыслы женщин, все их старания и усилия направлены к одной-единственной цели – ограбить, подчинить, облапошить мужчин, ибо они заранее уверены, что с ними обойдутся точно так же, пользуясь их неведением. Поэтому женщины так охотно посещают, приглашают, ублажают астрологов, чернокнижников, ворожей и гадалок и, сколько бы те ни сочиняли небылиц, щедро раздают им мужнины деньги и готовы озолотить их. А если и волховство не развеет сомнений, жены учиняют мужьям свирепый допрос, не жалея бранных слов и ядовитых намеков; и вряд ли успокоят их даже самые правдивые ответы.

Будучи тварью, склонной к внезапным вспышкам гнева, женщина превосходит яростью тигра, льва и змею; каков бы ни был повод, вызвавший гнев, она тотчас прибегнет и к огню, и к яду, и к булату. Тут уж не будет пощады ни другу, ни родичу, ни брату, ни отцу, ни мужу, ни любовнику; в одночасье она перевернет, сокрушит, сотрет в порошок весь мир, и небо, и Бога, и поднебесную, и преисподнюю, и все это ей куда приятней, нежели спокойно поразмыслить да предаться забавам с доброй сотней распутников. Если бы время позволило рассказать, сколько преступных и черных дел натворили женщины по злобе, ты бы, несомненно, счел величайшим чудом изо всех когда-либо виданных или слышанных чудес то, что Господь их все еще терпит.

Вдобавок ко всему это нечистое отродье славится непомерной алчностью; не будем говорить о том, как женщины постоянно обируют мужей, грабят малолетних пасынков, вымогают деньги у немилых любовников -это все дела обычные и всем знакомые, – лучше обратимся к подлостям, на которые они идут, лишь бы приумножить свое приданое. Любой слюнявый старец, со слезящимися глазами и трясущимися руками и головой, всегда сгодится им в мужья, если он богат, ибо они отлично понимают, что вскорости овдовеют и, стало быть, недолго придется ублажать мужа в постели. Не ведая стыда, они послушно отдают ему свое тело, волосы, лицо – все, что с таким старанием убирали венками, цветущими гирляндами, бархатом, парчой и другими украшениями, и, без числа расточая игривые ужимки, прибаутки и нежности, уступают ласкам скрюченных рук и, еще того хуже, беззубого, слюнявого и вонючего рта, в расчете прикарманить впоследствии стариковское добро. Если угасающие силы подарят ему ребенка – тем лучше; если нет – не умирать же ему без потомства: найдется другой, кто набьет его жене брюхо, а ежели оно по воле природы все же останется ровным, что твоя доска, жена всегда сумеет выдать чужого младенца за своего, чтобы потом, овдовев, подольше роскошествовать за счет малолетнего наследника. Только на ворожей, па мастериц по прикрасам, на знахарок да на пахарей, что пришлись по вкусу, не пожалеет она ни любезностей, ни денег и промотает все, что имеет. Тут уж нет места ни оглядке, ни бережливости, ни скупости.

Все женщины переменчивы, нет в них ни малейшего постоянства. За один час успевают они тысячу раз захотеть и расхотеть одно и то же, за исключением плотских утех, ибо этого они хотят всегда. Все они, как правило, самонадеянны и уверены в том, что все

им причитается и все принадлежит, что они достойны высших почестей и самой громкой славы и что без них мужчины ничего не стоят и обойтись не могут; вдобавок они упрямы и своенравны.

Всего трудней ужиться с богатой женщиной, всего досадней терпеть строптивость бедной. Женщина подчинится твоим требованиям лишь тогда, когда решит, что ей за это достанутся украшения или объятия. В противном случае она вообразит, что станет навсегда рабой, если хоть однажды уступит, и поэтому ни за что не покорится, если только это ей самой не придется по нраву. И вот еще одно, что ей свойственно, как горностаю – черные пятнышки: она не собеседница, а трещотка-мучительница. Несчастный ученый страдает от холода, недоедает, недосыпает и спустя много лет убеждается, что собранные им знания ничтожны; а женщине стоит пойти утром в церковь, и к концу мессы она уже знает, как вращается небосвод, сколько на небе звезд и какой они величины, каким путем движутся солнце и планеты, откуда берутся гром, молния, радуга, град и другие небесные явления, как наступает и отступает море и как земля производит плоды. Она знает, что творится в Индии и в Испании, как выглядит жилище эфиопа и где зарождается Нил [[5] - Комизм заключается в том, что в те времена этого никто не знал. Верховье Нила было открыто только в конце XVIII века, а до той поры это было одной из географических загадок.], верно или нет, что хрусталь образуется из льда, на далеком севере, и с кем спит ее соседка, и от кого понесла другая, и через сколько месяцев ей рожать; сколько у такой-то любовников, и кто из них подарил ей кольцо, а кто пояс; сколько яиц несет за год соседская курица, и сколько веретен придет в негодность, пока пряжа изготовит двенадцатую часть фунта льняной пряжи; да еще, вкратце, чем занимались когда-то троянцы, греки или римляне; у нее есть полные сведения решительно обо всем. И она их без умолку выкладывает служанке, булочнице, зеленщице или прачке, за неимением других слушателей, и приходит в великое негодование, ежели ее этим попрекнут.

Правда, из этих неожиданно обретенных знаний, ниспосланных, видимо, свыше, рождается совершеннейшая наука, которую женщина передает дочерям: учит их грабить мужей, прятать письма любовников, отвечать на них, водить дружков на дом, прикидываться больной, чтобы муж освободил постель, и еще всяким другим гадостям. И только безумец полагает, будто мать обрадуется, если дочь окажется лучше или добродетельней, чем она сама. Женщина не погнушается попросить соседку, чтобы та в случае надобности поддержала ее враньем, божбой, увертками, потоками слез, бурей вздохов, а соседке только того и надобно; один Господь ведает (а я даже и не мечтаю узнать или догадаться), где женщина прячет и держит наготове слезы, чтобы пролить их по желанию в любой миг. А уж как охотно соглашается женщина признать свои недостатки, особенно такие, что каждому видны простым глазом; разве от нее услышишь: «Ничего подобного! Нахальная брехня! Что это тебе причудилось?»

Мозги у тебя, что ли, отшибло? Хорошенькое дело! Сам не знаешь, что говоришь! Да в своем ты уме или нет? Бредишь наяву, попусту язык чешешь!» – или другие речи в том же роде?

Если она скажет, что видела, как осел летает, то как ни спорь, а придется в конце концов согласиться. Иначе не миновать тебе ее смертельной вражды, злобных нападков и ненависти; а стоит высказать сомнение относительно остроты женского ума, как у нее тут же хватит дерзости возразить: «А разве Сивиллы не были мудрыми?» – ибо каждая женщина почитает себя за одиннадцатую Сивиллу [[6] - Боккаччо, согласно распространенному тогда поверью, полагал, что было десять Сивилл.]. Удивительное дело! За все тысячелетия, что истекли от сотворения мира, из всех бесчисленных женщин, населявших землю, нашлось только десять истинно премудрых, но каждой женщине мнится, что она – одна из них или достойна быть к ним причисленной. Когда же ей приходит в голову особо почваниться перед мужчинами, она принимается утверждать, будто все, что есть на свете приятного, относится к женскому роду: звезды, планеты, музы, добродетели, драгоценности; и на это мужчина, если он человек честный, должен ответить только так: верно, все они женского рода, да зато не мочатся!

Помимо этого, женщины часто и неосмотрительно похваляются, что в их числе можно назвать и ту, что выносила во чреве своем единственного спасителя вселенной, оставаясь девственной до и после его рождения, и тех немногих святых, чью добродетель поминает и торжественно чтит церковь господня; поэтому женщины считают себя достойными всяческого уважения и утверждают, что даже словом нельзя обмолвиться об их низости, если о тех, пресвятах, ничего подобного не сказано; они чуть ли не требуют, чтобы те прикрыли их своим щитом, хотя между ними нет ничего общего, за исключением одного. Но с' их притязаниями никак нельзя согласиться, ибо единственная супруга святого духа была так чиста, так добродетельна, так непорочна и исполнена благодати, так далека от мерзости телесной и духовной, что, надо думать, сотворена была не из простых четырех элементов, а из пятого, чистейшего, дабы стать обителью и приютом сына божьего; а он, пожелав воплотиться в человеческий образ ради спасения нашего и не помышляя жить среди скверны нынешних женщин, готовил ее для себя как вместилище, достойное царя небесного. Когда бы все остальное не отличало ее от подлой толпы женщин, одним только поведением своим она уже выделялась бы из нее; и была она, да и поныне остается столь прекрасной, без ухищрений, без снадобий, без притираний, что ангелы радуются, глядя на нее в сияющем царстве божьем, и блаженные духи, если можно так сказать, преисполняются еще большею славой и чудеснейшим восторгом. Здесь, на земле, она приняла облик смертной женщины, но тем не менее всякий, взирая на ее красоту, испытывал не то чувство, которого добиваются тщеславные женщины, размалевывая свое лицо, а как раз обратное: если те своими прикрасами поощряют похотливость мужчин и распалют в них бесстыдные желания, красота царицы небесной изгоняла любую низменную мысль, любое бесчестное намерение того, кто смотрел на нее; в нем чудесным образом возгоралось пылкое и благоволительное стремление к добру, и он смиренно восхвалял ее создателя и жаждал претворить в действие свои благие чаяния. И пресвятая дева этим ничуть не кичилась и не чванилась, а, напротив, преисполнилась такого смирения и твердости духа, что Господь в своей неизменной милости избрал ее в матери для своего сына, посланного им на землю. А те немногие, что стремились идти по стопам сей госпожи, заслуженно почитаемой всеми, не предавались мирским утехам, но старательно избегали их; не раскрашивали себе лицо, чтобы привлечь внимание первого встречного, а презирали красоту, подаренную им природой, и пребывали в ожидании красоты небесной. Не гневливость или спесь были им свойственны, а кротость и смирение; отличались они поистине удивительным воздержанием и умели подавлять и побеждать неистовый жар плотских вожделений, с примерным терпением снося преходящие тяготы и страдания. Поэтому души их сохранились непорочными и они удостоились сопутствовать в вечной славе той, кому силились уподобиться на земной стезе. И если мне дозволено будет порицать природу, владычицу всего сущего, я скажу, что она совершила великую ошибку, создав их женщинами, поселив и скрыв столь высокий дух, мужественный, незыблемый и твердый в столь низменной оболочке и причислив их к низменному женскому полу, ибо стоит сравнить их с теми, что жаждут стать в один с ними ряд и заслужить таким путем почет и уважение, тотчас же станет ясно, что нельзя смешивать одних с другими, настолько они во всем противоположны.

Ославим же сие злонравное и прелюбодейное отродье, дабы не повадно ему было рядиться в чужие заслуги; всем известно, что выдающиеся женщины, подобные упомянутым мною, встречаются реже, чем феникс; и если хотя бы одна женщина выделится из числа остальных, она заслужит больше почестей, чем любой мужчина, столь редкостной будет ее победа и так удивит всех такое чудо. Однако мне думается, что и прадедам нашим не доводилось, и нам не доведется воздавать им почести: пожалуй, черные лебеди [[7] - Очевидно, что черных лебедей в Италии времен Боккаччо не существовало.] и белые вороны заведутся у нас раньше, нежели потомкам нашим выпадет на долю чествовать хотя бы одну из них; давно уже стерлись следы тех, кто шел по стопам царицы агнцев; и наши женщины, охотно сошедшие с того пути, вовсе не хотят, чтобы их опять на него вывели; а если проповедник и пытается это сделать, они остаются глухи к его речам, как гадюки – к музыке заклинателя.

Я еще не добавил, что все эти распутные бабы жадны, упрямы, честолюбивы,



завистливы, нерадивы и сумасбродны и что стоит только попасть к ним в подчинение, как они тотчас становятся властными, докучливыми, жеманными, тошнотворными и нудными; многое мог бы я еще порассказать тебе об их свойствах, куда более отталкивающих, нежели все уже сказанное, но не стану, ибо это отнимет чересчур много времени. Тем не менее по всем моим предыдущим речам ты можешь составить мнение, каковы они всегда и повсеместно и в какой глухой и беспросветной темнице будет заточен всякий, кто по той или иной причине окажется им подвластен. Но я уверен, что если до кого-нибудь из женщин дойдет мой правдивый рассказ об их злонравии и пороках, ни одна из них не признает это за истину, не устыдится того, что всем это станет известно, не приложит усилий и стараний, чтобы исправиться, а, напротив, как это свойственно ее природе, поспешит вперед по дурной дорожке; да еще станет говорить, что я браню женщин вовсе не потому, что я человек правдивый, но потому, что нравятся мне не они, а противоположный им пол. Дал бы бог, чтобы они мне и впрямь были так противны, как тот мерзкий грех, на который они намекают, тогда я сберег бы время, которое на них потратил; и в том мире, где я сейчас пребываю, мне на долю выпало бы не так много мучений.

Но перейдем к другому. Если природный разум тебе не подсказал, кто ты такой, ты должен был бы познать это из своих занятий, запомнить и постоянно твердить себе, что ты мужчина, созданный по образу и подобию Господа, творение совершенное, рожденное, чтобы властвовать, а не подчиняться. Прекрасный пример явил нам Господь в лице праотца нашего, коего создал первым, а затем привел к нему всякую тварь и велел поименовать их всех и подчинить их себе, точно так же, как и женщину, единственную в мире, и только ее жадность, непослушание и настойчивость послужили причиной и основой всех наших бед. От века был установлен такой порядок, как в древности, так и в наше время, как при папском престоле, так и в империях, королевствах, княжествах и провинциях, среди парода, судейских чиновников, священнослужителей и среди высоких особ, как духовного, так и светского звания, что только мужчине, а отнюдь не женщине дано господствовать и править теми и другими. Столь веский и неопровержимый довод убедит всякого разумного человека в том, что мужчина по своему благородству намного превосходит женщину и любую другую тварь. К тому же из сказанного вовсе не вытекает, что столь важное качество, как благородство, является привилегией каких-то исключительно достойных мужей, напротив, самые ничтожные наделены им все же в большей степени, нежели женщины или иные твари; отсюда следует заключить, что самый убогий, самый жалкий из мужчин на свете, если только он из лишен рассудка, стоит выше женщины, будь она даже самой выдающейся женщиной своего времени.

Итак, мужчина – благороднейшее из созданий, по замыслу творца немногим уступающее агнцам; и если таков даже последний из мужчин, что же сказать о том, кто за свои достоинства вознесен над другими? Каким должен быть тот, кого священная наука, философия, отделила от людей недалекого ума? Ты поднялся над ними благодаря рассудку и занятиям и с помощью божьей, в которой не отказано никому, кто о ней просит, удостоился стать в один ряд с лучшими из людей. Как же случилось, что ты не можешь познать самого себя? Как мог ты так низко пасть? Как же мало ты себя ценишь, если покорился подлой бабе и в безумии своем приписал ей качества, ею же презираемые! Я не могу успокоиться, пока думаю о тебе; чем больше думаю, тем больше тревожусь. Ты сам знаешь, что тебе свойственны любовь к уединению и неприязнь к толпе, теснящейся в храмах и других открытых доступу местах; вдали ото всех ты предаешься наукам и трудам, сочиняешь стихи, совершенствуешь ум и силишься добиться еще большего, по возможности приумножая делом, а не словом свою добрую славу, дабы впоследствии обрести спасение души и вечный покой, к чему справедливо стремится каждый и что является конечной целью твоих долгих стараний.

Пока ты пребудешь в лесах и безлюдье, тебя не покинут Кастальские нимфы, с которыми тоже надеются сравниться проклятые бабы; нимфы эти, как мне доподлинно известно, сияют небесной красотой; но они, прекрасные, никогда не станут тебя презирать и осмеивать и будут рады сопутствовать тебе в прогулках и вести с тобой беседу. И, как ты знаешь, ибо тебе они куда лучше знакомы, чем мне, они-то уж не затеют с

тобой споров и разговоров о том, сколько нужно золы, чтобы высушить моток пряжи, и где ткут более тонкое полотно, в Витербо или в Риме; и о том, что булочница перекалила печь, а у служанки не взошло тесто, и метла опять пропала и нечем подмести в доме; не сообщат тебе, чем занимались прошлой ночью мона такая-то и мона такая-то, и сколько раз они прочитали «Отче наш» за время про поведи, и что надо бы сменить ленточки на платье а впрочем, можно оставить прежние; они не потребуют у тебя денег на румяна, на баночки с притираниями, на всяческие снадобья; напротив, ангельскими своими голосами они поведуют тебе обо всем, чем славен мир от па-чала и до наших дней, и, сидя рядом с тобой в траве и цветах, под сладостной тенью, возле ключа [[8] - То есть возле Кастальского ключа, символа всякого человеческого знания.], что никогда не иссякнет, они объяснят тебе, почему сменяют друг друга времена года и в чем причина затмений солнца и луны; каковы тайные свойства растений, которыми можно снискать дружелюбие диких зверей; куда улетает душа человека; что такое божественная доброта, не ведающая ни начала, ни конца, и какие ступени ведут к пей, ввысь, и сколь опасно сорваться с крутизны в противоположащую бездну; они прочитают тебе стихи Гомера, Вергилия и других великих древних поэтов, прочитают затем и твои, ежели ты захочешь. Красота их не разожжет в тебе постыдного пламени, но вовсе его притушит; а нравы их послужат безупречной основой для будущих твоих добродетельных творений.

Зачем же ты, имея возможность проводить с ними время когда угодно и сколько угодно, ищешь чего-то под вдовым, или, вернее, дьявольским, покровом, где можно легко наткнуться на такое, от чего станет тошно? Ах, как справедливо поступили бы те прекраснейшие девы, когда бы изгнали тебя из своего дивного круга, как недостойного! Как часто вождедел ты к женщинам, как часто уходил от них безобразным и зловонным и шел к чистейшим нимфам, не стыдясь своего животного состояния! Право, если ты не одумаешься, они и впрямь тебя прогонят, и поделом тебе будет. Они ведь тоже способны гневаться, как и те, что зовут себя дамами, не будучи таковыми. Подумай же и представь себе, каким это будет для тебя позором.

Сдается мне, я высказал все, что хотел, о тех, кого тебе следовало бы вспомнить, прежде чем подставлять шею под несносное ярмо женщины, сверх меры тобой воспетой; а теперь, дабы ты не воображал, что она хоть чем-то отличается от прочих, я открою тебе не только обещанное (в чем ты сам не мог толком разобраться), но и другое – кто такая и как ведет себя та, чьим рабом ты, безумец, стал себе на горе; и ты поймешь, к кому ты попал в руки по собственной греховности и излишнему легковерию.

Впервые я постиг, что такое эта женщина, а вернее – чудовище, только после свадьбы, ибо, оставшись в одиночестве, то ли за грехи мои, то ли по воле божьей после смерти первой жены, причинившей мне в свое время несравнимо меньше горестей, я вторично сочетался браком, как того желали и требовали мои родные и друзья, хотя еще очень плохо знал будущую жену.

Она уже побывала замужем и, подобно всем женщинам, хорошо усвоила искусство обмана, а потому и вошла в мой дом под видом кроткой и простодушной голубки; не стану вдаваться и подробности и скажу одно – едва она поняла, что может наконец дать волю затаенному коварству (которое, должно быть, с давних пор исподволь в ней копилось), она из голубки тотчас же обратилась в змею; и тут я понял, что моя постоянная уступчивость стала верной причиной всех моих бед.

Не скрою, я поначалу пробовал укротить эту разъяренную зверюгу; по труд мой был напрасен, болезнь зашла слишком далеко, и оставалось только терпеть ее, а не лечить. Поэтому, убедившись, что любая попытка такого рода только подбросит дров в огонь или плеснет масла в пламя, я безропотно подставил спину под удары и вверил самого себя и дела свои Фортуне и Господу Богу; а жена моя, бранясь, угрожая и подчас затевая драку, с моими родными, лютовала в моем доме, как в собственном, и безжалостно притесняла всех нас; вдобавок, несмотря на то, что я взял за ней совсем небольшое приданое, она то и дело, стоило мне в чем-то ей не угодить, принималась хвалиться передо мной своим семейством, превознося его за родовитость и знатность,

будто я деревенщина, а она особа королевской крови, хотя мне отлично было известно, что представляли собой ее родичи как в старину, так и в наши дни; а вот она-то ни о ком и знать не хотела, кроме как о себе самой; но по тщеславию своему частенько бегала рассматривать гербы, вывешенные в церкви, и кичилась их древностью и количеством, полагая, что нет дамы благородней, чем она, коли среди ее предков насчитывается столько благородных рыцарей. Но если бы в церкви вывесили, допустим, по одному гербу в честь десятка подлецов из этого рода, прославленного скорее числом, нежели храбростью ила добродетелью, и сняли хотя бы один, свидетельствующий о рыцарской доблести, столь же свойственной этому семейству, как свинье седло, то церковные стены, без сомнения, украсились бы сотнями гербов отъявленных негодяев и не лишились бы ни одного, принадлежащего истинному рыцарю. Ослы полагают, а среди них эта женщина – первая ослица, величиной побольше слона, что одежда, подбитая беличьим мехом, и раззолоченные шпоры и шпага, которые с легкостью может раздобыть и ничтожный ремесленник, и нищий работник, да еще лоскут ткани с жалким гербишкой, выставленный в церкви всем напоказ [[9] - Речь идет о гербах и других знаках, которые знатные семейства имели обыкновение выставлять на своих надгробиях в церквах.], являют собой суть рыцарства; да поистине у нынешних так называемых рыцарей ничего другого за душой и не бывает. Но только тот, кто знает, что такое настоящее рыцарство и на каких добродетелях оно зиждилось, может понять, как далеки от него теперешние, что бегут от этих добродетелей, как черт от ладана.

Итак, когда жена моя начала по-дурацки кичиться и чваниться, я счел это наименьшим злом и трусливо опустил оружие, надеясь, что она одумается и перестанет помыкать мною, но вынужден был в конце концов признать, увы, слишком поздно, что не мир и покой внесла она ко мне в дом, а раздор, пожар и беду, так что лучше бы этому дому и впрямь сгореть; любой закоулок нашего города, какие бы там ни кипели свары и перепалки, казался мне милее и спокойнее, нежели родной дом; а наступление ночи, вынуждавшее меня вернуться домой, докучало, будто несносный, властный и непреклонный тюремщик загонял меня обратно в ненавистную и мрачную темницу. А жена, завладев и мною, и домом, прежде всего навела порядок в хозяйстве и расходах, по не так, как должен был ей подсказать разум или уважение ко мне, а так, как того требовала ее ненасытная алчность; точно так же поступила она и со своими нарядами, сменив те, что я покупал, на другие, которые ей пришлось более по вкусу; и принялась заправлять чуть ли не всеми моими делами, проверяя счета, прибирая к рукам доходы и распорядясь ими по своему усмотрению; по тысяче раз в день она честила меня, называя обманщиком, ибо считала за величайшее оскорбление, что я не сразу же отдал ей под опеку и в безраздельное пользование все свое состояние, и наконец добилась своего; себя же, напротив, она восхваляла за честность превыше Фабриция [[10] - Фабриций – римский полководец (III до н. э.), прославившийся своим бескорыстием.] и других бескорыстных государственных мужей.

Чтобы не рассказывать всего чересчур подробно, скажу только, что не счесть было случаев, когда она мне перечила и не складывала оружия, пока победа не оставалась за пей. А я, горемычный и неразумный, все покорно сносил, полагая, что таким путем избавлюсь от своих тревог и кручины, и становился еще уступчивей, во всем следуя ее воле; вот за эту уступчивость я теперь и расплачиваюсь, как я уже говорил, и терплю тяжкие муки в сей огненно-красной одежде.

Но пойдем дальше. Когда она таким образом стала в доме хозяйкой, а я слугой, она вовсе обнаглела и, не чувствуя сопротивления, сочла возможным блеснуть па-конец теми высокими добродетелями, которые твой приятель столь красочно тебе описывал; но так как я знал ее куда лучше, чем он, я с радостью поведаю тебе о них значительно больше. И дабы начать с главной из них, я поклянусь тебе сладостным миром, куда, надеюсь, буду скоро допущен, что в нашем городе никогда не было и из будет такой тщеславной женщины, а лучше сказать, бабы, чтобы особа, о которой мы говорим, изрядно не обогнала се па этом поприще. Гордясь своими пухлыми, румяными щеками и пышным, оттопыренным задом (возможно, она прослышала, что эти женские прелести ценятся в Александрии [[11] - Александрия была в то время главным центром работорговли.] превыше всяких других), она прилагала все старания, дабы и то, и

другое было всегда представлено в наилучшем виде; с этой целью она всячески урезала мои расходы и морила меня голодом. А для себя она частенько отбирала самого жирного из откормленных по ее приказу каплунов, которого ей и подавали к столу, равно как и бульон, приправленный лапшой и паря мезанским сыром. Ела она не из тарелки, а из миски, чавкая, как свинья, будто вырвалась на волю из Голодной башни. Молочная телятина, куропатки, фазаны, жирные дрозды, горлинки, ломбардские супы, лапша с пряностями, блинчики с бузиной, белые лепешки, бланманже – не перечить всей снеди, что она пожирала с такой жадностью, с какой деревенские мужики набрасываются на фиги, тыквы или дыни, когда до них дорвутся. Мяса, заливного или засоленного, и всяких там острых и кислых приправ избегала она, как смертельных врагов, ибо от них, по слухам, тело сохнет. А уж как она зато смаковала и распивала подогретое доброе вино, верначчу из Корнильи, греческое белое или любое другое, лишь бы оно было сладким и приятным на вкус – сколько ни рассказывай, все равно не поверишь – ну прямо бездонная бочка! Но если бы ты видел ее щеки в те дни, когда я еще был среди живых, и слышал бы ее болтовню, ты бы признал мою правоту, не скажи я даже ни единого слова, стоило только ее послушать. Вот от всего этого и стала она толстощекой и пышнозадой. Уж не знаю, возможно, она после моей смерти и впрямь отощала, соблюдая все посты ради спасения моей души; но сколько бы ты мне ни рассказывал о ее худобе, пусть даже мне пришлось бы скрепить твои слова собственноручной подписью, я все равно не поверю.

Несмотря на то, что правдивые речи духа будили во мне все больше стыда и раскаяния, я все же не мог удержаться от смеха при последних его словах. А он, не меняясь в лице, продолжал:

– Однако моя прекрасная дама – она же твоя, она же чертова баба – отнюдь не довольствовалась одною; пышностью тела, ей еще требовалось, чтобы кожа ее сияла белизной и свежестью, как у смазливой девчонки па выданье, чья красота искупает недостаток приданого. С этой целью она не только заботилась о хорошей еде, винах и нарядах, но также весьма искусно перегоняла всяческие жидкости, стряпала притирания и знала толк в применении сала животных и сока трав; мало того, что в доме было полным-полно всевозможных горелок, трубочек, кастрюлек, баночек, скляночек, мисочек, не нашлось бы к тому же ни единого соседа в городе или садовника в пригороде, кого бы она не заставила готовить белящие смеси, скоблить медную зелень, возиться с растворами либо выкапывать и разыскивать дикие корни п травы, известные только ей одной; уж не говоря о том, что и кирпичникам нашлась работа – обжигать для нее яичную скорлупу и винный камень, поджаривать черенки и выполнять еще тысячу небывалых затей. Этими изделиями она мазалась и красилась, будто готовила себя на продажу, и бывало, не остережешься, поцелуешь ее и перепачкаешь губы чем-то липким; а так как помада эта не столь бросалась в глаза, сколь била в нос, мне чудилось, что желудок мой вот-вот расстанется с пищей, а душа – с телом.

Ты будешь поражен, если я тебе перечислю все способы, которыми она мыла свои золотые кудри, то щелоком, то золой (когда холодной, а когда и горячей); еще более ты удивишься, когда узнаешь, как часто и с какими торжественными церемониями посещала она парную баню. Мне думалось, что она воротится из бани отмытой, а она приходила оттуда намазанной пуще прежнего. Самым желанным и разлюбезным для нее занятием было принимать у себя неких особ, которых немало водится в нашем городе, истых живодерок, ибо они выщипывают женщинам брови и волоски на лице, острым стеклом скоблят им щеки и снимают с загривка тонкий слой кожи и лишний пушок. Вечно две или три таких мастерицы сидели с ней запершись, держа тайный совет, и частенько вели переговоры совсем о другом, ибо эти бесстыдницы лезут в чужие дома, прикрываясь своим ремеслом, а па деле являются искусными своднями и ловко помогают мессеру Дубини забраться в Темный дол [[12] - Характерное уподобление в системе эротического языка Боккаччо. Ср. аналогичные уподобления в «Декамероне» и «Фезоланских нимфах».], откуда его выпускают только поело обильно пролитых слез.

Недели не достанет, чтобы описать тебе все, что она вытворяла ради единой этой цели и как чванилась своей искусственно обретенной прелестью, а вернее сказать,

мерзостью; и какого великого труда стоило уберечь эту прелесть от солнца и воздуха, от света и тьмы, от погожего дня и ненастья, ибо все они могли ее сразу испортить. Всего ненавистнее были нашей даме пыль, ветер и дым. А если случалась беда и к ней па вымытое лицо садилась муха, она впадала в такое отчаяние и ярость, что по сравнению с ней христиане, потеряв Акри [[13] - Акри, последний оплот христиан в Палестине, взятый в 1291 году арабами.], попросту веселились. Скажу тебе прямо, никто не выдвигал и не слышал подобного неистовства. Иной раз муха усаживалась ей на лицо, облитое, словно глазурью, какой-нибудь новейшей смазкой; тогда красавица, пылая гневом, норовила прихлопнуть ее, но та, разумеется, шустро снималась с места, как, знаешь, свойственно мухам, и потом прилетала обратно; а дама, взбешенная неудачей, хватала метлу и охотилась за мухой по всему дому; и я глубоко убежден, что если бы в конце концов ей так и не удалось прикончить эту самую муху или другую, на нее похожую, она бы просто лопнула с досады и злости. Как ты думаешь, что бы она сделала, будь у нее под рукой щит одного из предков-рыцарей или его золоченая шпага? Уж конечно, пустила бы их в ход. Ну, что еще? Полбеда, можно сказать, если такое событие приключалось днем, а вот если она, к несчастью, ночью услышит, что по дому летает комар, тут какой пи будь поздний час, а придется слуге и служанке, да и всему семейству вскочить с постели и отправиться со светильниками в руках на поиски коварного и злонамеренного комара, нарушителя покоя и доброго, мирного настроения намазанной дамы; и нельзя вернуться ко сну, пока не представишь ей оного комара убитым или плененным, за то что он, по ее словам, назло летал по дому и прятался в засаде, дабы попортить ее прекрасный, обворожительный лик. Что еще? Всякий, у кого не пропала охота смеяться, счел бы самым потешным зрелищем то, как она приводит в порядок прическу и сколько проявляет тут мастерства, сноровки и усердия; видно, у этого дела есть свои законы и свои пророки. Поначалу, когда она числилась в молодых, хотя было ей уже далеко за тридцать, или, вернее, под сорок, а по ее ошибочным подсчетам только-только стукнуло двадцать восемь, она добывала что ни день, неведомо откуда, зеленые веточки и цветы, и все разные, сортов, должно быть, этак с полдюжины, да не только в апреле или мае, это уж само собой, а даже в январе и феврале, и плела из них венки; поднявшись спозаранку, звала прислужницу, старательно притирала лицо и шею всякой дрянью и, напялив наряд, что был ей больше по душе, усаживалась в спальне перед большим зеркалом, а то и перед двумя, чтобы получше разглядеть себя со всех сторон и выяснить, в котором из них она меньше всего на себя похожа. По одну ее руку стояла наготове служанка, по другую располагалось не менее шести скляночек, да еще острые стеклышки, да еще растительный клей и прочая ерунда в таком духе; когда волосы были тщательно расчесаны и закручены на макушке, она водружала на них какой-то моток переплетенных ниток, который звала косой, натягивала поверх сеточку тончайшего шелка, и вот тут-то ей подавали венки и цветы, и сперва она надевала на голову венки, а затем втыкала в волосы один цветочек за другим, пока вся голова не была ими пестро разубрана на манер павлиньего хвоста; и закрепляла их, всякий раз советуясь с зеркалом.

Но когда годы взяли свое и седые волосы стали пробиваться все чаще, сколько раз на день она их ни выдергивала, пришла пора скрывать их под платочками да повязками, и точно так же, как в свое время она утыкала голову листьями и цветами, теперь утыкала она грудь и живот булавками и принималась закалывать ими платки с помощью служанки, тут же осыпая ее тысячью попреков: «Этот платочек что-то пожелтел; а тот свисает набок; поправь-ка вон тот, с другой стороны; да натяни этот, надо лбом! Вынь ту булавку у меня над ухом и воткни ее вон туда, подальше, и заложь поглубже складку на повязке у подбородка. Возьми стеклышко и отрежь волосок, здесь, на щеке, под левым глазом».

Стоило служанке хоть разок зазеваться, выполняя бесчисленные приказы, как хозяйка раздражалась неистовой бранью и гнала ее прочь, приговаривая: «Убирайся! Тебе только кастрюли в пору скоблить! Вон! Пошли сюда донну такую-то!»

Донна такая-то являлась и доводила дело до благополучного конца, после чего хозяйка, облизнув палец, как кошка лапку, подчищала то тут, то там, поправляла то

один волосок, то другой; и раз пятьдесят, не менее, поглядывала в зеркало; и так приятно было ей отражение, что едва могла от пего оторваться; по тем не менее снова и снова вертелась перед угодившей служанкой; а та привередливо осматривала, все ли на месте, или чего-то недостает, с таким старанием, будто от этого зависело ее доброе имя или сама жизнь. И только после многократных ее уверений, что все в порядке, хозяйка выходила наконец к ожидавшим ее подругам, чтобы вновь советоваться с ними о том же. Разумеется, кое-кто может возразить после всего сказанного, что не находит ничего странного ни в ней, ни в других женщинах. Но я-то называю все это вовсе не странным, а порочным, омерзительным и уродливым и хочу этим доказать тебе, что она ни в чем не отличается от других, а дабы ты поверил, что мне доподлинно известно, к чему ведут подобные ухищрения, я тебе расскажу многое, не откладывая.

Если бы кто-нибудь спросил эту женщину, зачем она с таким усердием прихорашивается, она бы, не раздумывая, ибо хитрости ей было не занимать, ответила, что старается мне лучше нравиться, и добавила бы, что при всем старании не может этого добиться и я-де бросаю ее и бегаю за служанками, шлюхами и другими подлыми и дурными женщинами. И все это было бы бессовестным враньем, потому что я никогда за шлюхами не бегал, а она никогда не старалась мне нравиться. Напротив, я часто замечал, что стоит какому-нибудь юноше, да и любому мужчине приятной наружности, пройти мимо дома или другого места, где она находилась, она тотчас же, как сокол, с которого сняли колпачок, принималась крутиться и оглядываться по сторонам, превыше всего желая, чтобы ее заметили. И если тот проходил мимо, не обратив на нее внимания, она возмущалась так, будто он ее смертельно оскорбил. А вот если он ненароком глянет на нее, да еще к тому же лестно о ней отзовется, так, что она услышит, – это будет для нее таким великим праздником и счастьем, с каким ничто не сравнится; потребуй он от нее что угодно – она исполнит все его желания, если только сможет, с величайшей охотой и быстротой, а того, кто хулит ее красы, она готова убить собственными руками. Нет женщины, которая бы с большим удовольствием, чем она, слушала, как под окном ее, утром или вечером, играют и поют песни; и до смерти завидовала каждой, для кого их слагали и пели, так как мнила, что все они должны быть посвящены ей одной и только она достойна этого и еще многого другого.

Боле я не коснусь сего предмета, но скажу одно – вот каковы изящные и похвальные привычки, великий ум и поразительное красноречие той, кого по незнанию воспевал твой приятель. Вот каковы твердость ее характера и сила духа; вот каково ее несравненное усердие и прилежание к честным и пристойным делам, обычным для истинно благородной дамы, какой она жаждала прослыть, и вот за что ее надлежит поставить в один ряд с прославленными женщинами древности. О щедрости же, по которой ее равняли с Александром Великим, я тебе кое-что скажу немного погодя.

Женщина эта, тщеславная и неотразимо привлекательная (если считать привлекательной особу, наряженную, как фиглярка, и размалеванную наподобие тех, что готовы прельстить любого на короткий миг и уступить ему за недорого), мастерица строить глазки и выражать ими свои чувства гораздо бойчее, нежели приличествует степенной даме, обрела немало поклонников; им не грозила судьба бегунов па состязании, где только один из многих получает желанный приз; все многочисленные участники сего бега оказывались победителями, ибо только этого она и домогалась. Но ни я, пи любовник, ни даже двое из них не могли утолить жар ее любострастия, и усилий всех сообща не доставало, чтобы загасить хотя бы одну искорку бушевавшего в ней пламени. Об этом ее свойстве я еще не говорил и не намерен на нем останавливаться, потому что такое лекарство только пуще раздражит болезнь, которую я призван врачевать: мне хорошо известно, что вздыхатель, узнав о пылкости своей возлюбленной, проникается удвоенной надеждой и любовь его получает еще больше пищи.

Короче говоря, как я и подозревал, а теперь удостоверился, оседлал ее однажды некий лихой наездник, до той поры скорее предприимчивый, нежели удачливый, и она не раз проверяла на себе его вес. Нимало не считаясь со своей или моей честью, она принимала ласки любовника наряду с моими, супружескими; и мало того, что отдавала ему себя, но еще, будучи весьма щедрой, по словам твоего приятеля, она проявляла

эту щедрость за мой счет, и не раз, не два, а куда чаще перепало ему немало деньжонок то па коня, то на камзол, а то и попросту затем, чтобы он поспешил явиться, когда ей было невтерпех; таким образом, и место того чтобы охранять мое добро, она его расточала, транжирила и пускала на ветер. И все же ее ненасытной похоти мало было законного супруга вместе с избранником, ей понадобился еще мой сосед, бесчестно отплативший мне за дружескую привязанность. Но хотя каждый из нас по очереди поливал ее пламя охлаждающей струей, она успела, вдобавок к тому, тесно породниться со всеми моими родичами. А сколько других прошло ее проверку на умение владеть своим оружием и метать копье в цель – об этом я узнал только теперь и рассказывать не стану.

Вот так-то, соря деньгами направо и налево, обогащая сводниц и разоряясь на лакомства и прикрасы, твоя возлюбленная прославилась своей исключительной щедростью, о которой ты узнал от приятеля. А теперь я продолжу рассказ о других ее высоких и блистательных добродетелях и на этом пути одновременно убью двух зайцев, ибо, знакомя тебя с сим предметом, я в то же время поясню, как следует понимать строки ее письма, где она говорит о своих вкусах, потому что ты, возможно, не сумел хорошенько в этом разобраться.

Итак, следующим по порядку достоинством назовем любезность, отстоящую в ее понимании недалеко от щедрости, так как из щедрости она раздавала и разбрасывала мое имущество, а из любезности раздавала собственную особу, отвечая согласием всякому, кто домогался ее любви; собственно говоря, ее можно назвать любезнейшей из любезных, потому что она не отвергала даже самого робкого искателя. Иному она могла, на первый взгляд, показаться неприступной, но тем не менее никто, на свое счастье, этим не смутился; я говорю «на свое счастье», имея в виду их сладострастные вождения; ведь ее стоило только попросить, а ждаться она никого не заставляла. Вот она и превозносит любезность так высоко, полагая, что безотказное выполнение всех просьб послужит верным залогом на будущее и ее не отвергнут, когда она в свою очередь будет просить о том же. Меня, право, удивляет, что тебе не удалось получить то, в чем никто не знал отказа, и объяснить это могу только тем, что Господь тебя возлюбил и избавил от обязательства потакать в будущем ее желаниям, что было бы горше адских мук. И потому, если ты неверно понял из ее письмо, о какой именно любезности она говорит, тебе это сейчас, должно быть, стало ясно.

Мудрости у твоей возлюбленной дамы, разумеется, хоть отбавляй; а так как всякий стремится к себе подобному, она жаждет общества мудрых людей, как видно из ее письма. Но тебе, конечно, известно, что есть немало различных причин, по которым тот или иной человек слывет мудрецом; одного зовут мудрым за то, что он отлично разбирается в Священном писании и знает, как растолковать его другим; другого – за то, что он изучил все законы, как светские, так и канонические, и может

давать полезные советы по вопросам мирским и духовным; иного – за то, что он опытен в управлении государством и ему удается в час нужды отвратить беду и ступить на верный путь; а иного почитают мудрецом за умение ладно справляться с торговлей, ремеслом и домашними делами и ловко принаравливаться ко всем переменам. Только не думай, что я назвал эту даму премудрой, потому что она обладает одним из перечисленных достоинств или им подобными; ей вовсе дела нет ни до Священного писания, ни до философии, ни до законов, ни до управления государством или собственным домом; а если я, по-твоему, неправ, значит, ты опять неверно понял из ее письма, что именно ей по вкусу. Но есть на свете и другие мудрецы, о которых ты, возможно, никогда и не слыхивал, ибо твоя наука не упоминает их в числе создателей философских учений, и я зову их чангеллистами. У Сократа и Платона были свои ученики и последователи, а сия новая философская школа носит имя весьма прославленной дамы, известной тебе, должно быть, понаслышке, мадонны Чангеллы [[14] - Чангелла, флорентийка, дочь Арриго делла Тоза и жена Лито дельи Алидози из Имолы, упоминаемая Данте (Рай, XV, 128), прославилась своей безнравственностью. Оставшись вдовой, вернулась во Флоренцию, где вела бурную, полную любовных приключений жизнь.

Умерла в 1330 году.], и твердо соблюдает следующий устав, принятый умнейшими дамами после долгих и серьезных словопрений: только те женщины, что обладают дерзостью и отвагой и знают, как и когда подцепить ровно столько мужчин, сколько требует их ненасытная похоть, достойны зваться мудрыми, а все остальные – полоумные или вовсе дуры.

Вот какая премудрость ей приятна и любезна; вот какую премудрость она годами изучала в долгие бессонные ночи и наконец достигла в ней высшего совершенства, превзойдя всех Сивилл настолько, что зачастую в горячем споре с подругами отстаивала свое право возглавлять эту, школу теперь, когда уже нет в живых ни моны Чангеллы, ни ее преемницы, моны Дианы [[15] - ...ее преемницы, моны Дианы. – О какой именно Диане идет речь, исследователями точно не установлено. Полагают, однако, что Боккаччо имеет в виду аббатису делле Скальце (XIII век), которая прижила сына от казначея Главного флорентийского собора Маккьявелли.]. Вот что имеет она в виду, когда говорит, что хочет либо знаться с мудрыми людьми, будь то мужчины или женщины, либо быть наставницей для других; а посему раскайся, если неверно понял ее слова, и поверь безоговорочно своему другу, что она – кладезь премудрости!

Сдается мне, ты не только дважды ошибся на ее счет, но и в третий раз тебя ввели в заблуждение ее слова – о том, что ей приятны люди, исполненные доблести и отваги. Ты, должно быть, подумал, что она хочет, желает, жаждет видеть, как эти доблестные и отважные люди сражаются остроконечными копьями на турнирах, идут в кровавый бой навстречу бесчисленным опасностям, штурмуют города и крепости, бьются насмерть со шпагой в руке. Но все это не так: она далеко не столь жестока и коварна, как ты, видимо, полагаешь, и ей вовсе не требуется, чтобы люди истребляли друг друга. И па что ей алая кровь, бьющая из смертельной раны? Она жаждет совсем иного вещества и получает его взаимы из живого и здорового тела и к тому же безвозвратно. Никто лучше меня не знает, какого рода доблесть ей по нраву. Эту доблесть проявляют не на крепостных стенах, не в латах и шлеме, не с грозным оружием в руках; проявляют ее в спальне, в укромном уголке, в постели и любом другом подходящем для этого месте, куда не мчатся, как на турнир, верхом на коне, под звуки медных труб, а пробираются тайком, крадучись. И она кого хочешь приравняет по доблести к Ланселоту [[16] - Перечисляются славнейшие из героев рыцарских романов.], Тристану, Роланду или Оливеру, лишь бы выпрямлялось его копье, погнувшееся после шести, восьми или десяти стычек за ночь. Только это ей мило, пусть даже сей доблестный боец будет страшен лицом, как потешная мишень для метания копья; она все равно станет восхвалять его за доблесть и любить более всех других, а потому, если годы еще не лишили тебя привычных сил, утешься и пойми, что она вовсе не ждет от тебя доблести Морхольдта Ирландского [[17] - Один из центральных персонажей сказаний о рыцарях Круглого стола.].

Об ее пристрастии к благородному происхождению уже было ранее говорено; но если я растолковал тебе, что она понимает под любезными ей умом и доблестью, то в этом деле ей и понимать-то нечего, так как ей вовсе чуждо какое бы то ни было благородство; она и не ведает, что это такое и откуда оно берется, кого можно звать благородным, а кого нет, и хочет только всем доказать, что сама-то она из благородных, а потому, мол, ее манит и влечет все, что благородно; и до того хвалится она и кичится своей знатностью, будто превосходит ею герцогов баварских или королевский дом Франции [[18] - Боккаччо имеет в виду древнейшую семью Виттельсбахов, в течение веков определявшую судьбы Баварии. Королевский дом Франции – легендарная династия французских королей, идущая якобы от сына императора Константина до Карла Великого.] – словом, всех, чей род известен древностью и славными делами.

А на самом деле (если она хотела убедить тебя, что ей по душе древний род и что сама она – издревле благородная дама; о древности, кстати, ты мог судить по ее лицу, зато доказать, что она дама, да еще благородная, невозможно) она бы должна была признать в письме, что ей по душе отъявленные болтуны, так как она сама болтовней превзойдет кого хочешь. Поверь мне, она своим языком разогнала бы лунное



затмение поскорее, чем все бубны древних, вместе взятые; я уж не говорю о том, как она без конца и без устали похваляется перед другими женщинами, повторяя: «А уж что касается: моего рода, и моих предков, и моих близких», и ей даже слов недостает, чтобы описать их великолепие; и как она торжествует, если замечает, что ее внимательно слушают или перешептываются: «Это мона такая-то, из таких-то», и собираются возле нее в кружок. Оглянуться, не успеешь, как она тебе расскажет, что слышно во Франции и как правит король Англии; хороший урожай соберут сицилийцы или нет; получат ли генуэзцы и венецианцы пряности с Востока и какие именно; спала ли королева Джованна [[19] - Джованна I, неаполитанская королева (с 1342 по 1382 г.), имевшая четырех мужей.] прошлой ночью с королем; какие перемены в жизни города ожидают флорентийцев (что ей вовсе не трудно узнать, если она путается с кем-либо из правителей, ведь они способны хранить тайну не лучше, чем корзина или решето держат воду); и кроме того еще наговорит с три короба, так что диву даешься, как у нее дух не перехватит. Право, ежели верить естествоиспытателям в том, что самой приятной на вкус и полезной для желудка является та часть тела животного, птицы или рыбы, которая им всего более служит, то не найдется лучшего лакомства, чем язык этой женщины, потому что он работает без передышки и никогда не ослабнет и не притомится: «Дили-дон! Дили-дон! Ди-ли-дон!» – с утра и до вечера; и даже ночью, скажу тебе, он не знает покоя. Человек, незнакомый с нею, послушав, как она распинается насчет своей честности, набожности и родовитости, непременно сочтет ее святой и к тому же особой королевской крови; того же, кто ее знает, стошнит, не успеет он второй раз ее выслушать. Ежели не поддакивать выдумкам и басням, которых у нее в запасе более, чем у любой другой, она тотчас же полезет в драку; и но побоится, так как храбрости у нее побольше, чем у Галеотто с дальних островов или у Фебуса. Недаром она зачастую бахвалится, что, будь она мужчиной, произошла бы отвагой не только Марка Прекрасного, но и красавца Герардино, вступившего в бой с медведем.

К чему тратить лишние слова? Если бы я собрался поведать о ней все, что знаю, или хотя бы самое главное, у меня не достало бы времени. Надеюсь, что у тебя хватит ума, чтобы заключить из всего, что говорено, каковы ее повадки и нрав и что представляют собою ее хваленая добродетель, щедрость, разум и все прочее, и каковы те благие дела, коим она с наслаждением предается. Поэтому я ничего не добавлю к сказанному и перейду к тому, что осталось тебе неведомым и, возможно, все еще влечет тебя, – иначе говоря, к тому, что скрыто под ее одеждой и чего ты, по счастью, не видел (лучше бы мне тоже никогда этого не видеть!), и надеюсь не наскучить тебе своим рассказом. Но прежде, чем начать, я хочу заранее избавить тебя от сомнения, уже, быть может, зародившегося, и тем самым ответить на предстоящие возражения. Возможно, ты спрашиваешь себя: «К чему, собственно, он клонит? Что это за речи, что за слова? Приличествуют ли они честному человеку, стремящемуся обрести царствие небесное?» И на эти вопросы, не углубляясь в сложности, я дам только один ответ, который ты, несомненно, сочтешь единственно возможным и своевременным. Знай же, что самый искусный врач не может исцелять разные болезни или увечья одной лишь ароматной мазью, ибо есть немало недугов, не поддающихся такому лечению, но зато уступающих воздействию зловонных лекарств. А такой недуг, как пагубная любовь к скверной женщине, может быть исцелен только с помощью пакостных слов, примеров и доказательств; пусть одно-единственное гнусное словцо западет в возмущенный ум, и оно всего за час окажет более полезное воздействие, нежели тысяча любезных и пристойных уверений, подолгу и понапрасну стремящихся проникнуть в запертое наглухо сердце. А уж если существует на свете человек, насквозь прогнивший по вине этого подлого, вонючего отродья, это, несомненно, ты и есть. Поэтому я, придя сюда не по своей воле, а ради твоего спасения и не располагая длительным временем, вынужден буду прибегнуть к быстродействующим средствам и стану говорить с тобой, как сочту нужным, дабы укротить твои неумеренные страсти: слова, что прозвучат здесь, – это клещи, коим надлежит разомкнуть и порвать тяжкие цепи, сковавшие тебя; слова, что прозвучат здесь, – это нож и топор, коим предстоит обрубить ядовитые побеги, колючие ветви и уродливые сучья, опутавшие тебя со всех сторон и скрывшие от глаз твоих дорогу, уводящую прочь отсюда; слова, что прозвучат здесь, – это молот, кирка и таран, коим дано пробить высокие горы, неприступные скалы и грозные кручи, дабы

ты наконец сумел беспрепятственно уйти от зол, бед, опасностей и гибели, таящихся в сей долине.

Итак, я надеюсь, что ты терпеливо выслушаешь мои речи и что твоя скромность не оскорбится ими и ты не посетуешь на врача как на преступного, неумелого и бесчестного лекаря и поймешь, что всему виной чума, тобой завладевшая. Вообрази, что слова мои, столь грязные и тошнотворные, – это горький напиток, который нередко подносил тебе опытный врач после того, как ты долго злоупотреблял вкусными и приятными яствами; и подумай, что если брэнное тело не только приемлет, но даже с отрадой вкушает это горькое зелье, какая же горечь потребна, чтобы исцелить бессмертную душу!

Мне думается, что я полностью разъяснил тебе вез, что могло или в дальнейшем может вызвать у тебя сомнения относительно избранных мною выражений или слога. Поэтому я пойду прямо к цели, то есть начну рассказ о женщине, завладевшей твоей душой, и хотя бы частично поведаю о том, чего ты не успел увидеть или даже вообразить, поскольку убежал от нее прочь; и для начала скажу о свежести ее лица, подделанной с таким мастерством, что многие, кроме тебя, были очарованы и введены в заблуждение. Они, подобно тебе, считали природной сию искусственную свежесть, не уступавшую по цвету розе, расцветшей па заре; по если бы вы, дурни, видели эту женщину поутру, как видел я, когда она только-только поднялась с постели и еще не навела красоту, вы сразу поняли бы, как ошибались. В ту пору, а теперь, должно быть, еще более того, лицо ее ранним утром было зеленовато-желтым, землистым, похожим по цвету на болотный туман, рябым, как птица во время линьки, морщинистым, струпчатым, дряблым, столь непохожим на то, каким становилось после подмалевки, что никто не поверил бы своим глазам, если б увидел ее такой, какой мне она представала тысячи раз. Но кто не знает, что не только женское лицо, но даже закопченная стена станет белой, если ее покрыть белилами, или цветной, если наложить поверх белил ту или иную краску? Кто не знает, что даже тесто, предмет бесчувственный, вздуется, когда его замесят, и из жидкого станет пышным, а уж что сказать о живой плоти! Эта особа так ловко умела намазаться, накраситься, освежить и подтянуть опавшую за ночь кожу, что мне, лицезревшему ее до того, оставалось только изумляться. Посмотрел бы ты утром, как я, на эту голову в чепце, на шею, обмотанную тряпицей, па землистое, как я уже говорил, лицо, посмотрел бы, как она в теплой накидке жметя к огню, скукоженная, с синевою вокруг глаз, и кашляет, и харкает – и готов поручиться, что твоя любовь, порожденная хвалебными речами приятеля, не устояла бы перед этим зрелищем и ты разлюбил бы ее во сто тысяч раз быстрее, чем полюбил. Вообрази, как же она, должно быть, выглядит в те дни, когда ее нагоняют красные! копи и она туго перетягивает лоб платком, будто от головной боли, хотя болит-то совсем в другом конце. От этого вида, не сомневаюсь, тебя бросило бы в жар, как бывает, если в огонь плеснуть масла, потому что тебе почудилось бы, что ты внезапно увидел вместо нее кучу нечистот или груды навоза; и ты бежал бы прочь, как бегут от мерзостного зрелища; ты и впрямь бросишься наутек, если ясно представишь себе то, что я здесь правдиво изобразил.

Но пойдем дальше. Тебе она представляется высокой; и статной; и если я твердо уповаю на грядущее блаженство, я не менее твердо уверен, что ты, любуясь на ее; грудь, вообразил, будто она крепкая и налитая, под стать лицу, которое, кстати, ты тоже не полностью видел, так как обвисший тройной подбородок был всегда скрыт тканью шейного платка. Но твое мнение о ней отстоит бесконечно далеко от истины; немало есть людей, могущих на основе собственного опыта засвидетельствовать справедливость моих слов, но я хочу, чтобы ты поверил мне без иных свидетелей, ибо с моим опытом, к несчастью, ничей не сравнится по длительности. Знай же, что в прелестях, вздымающихся у нее над поясом, не больше плоти, чем в раздутых, но пустых, недозрелых сливах, а в свое время они, должно быть, были столь же приятными на вид и на ощупь, как неспелые яблоки, и я полагаю, что такими, неприглядными она получила их в наследство от матери. Но оставим это. То ли потому, что слишком многие теребили эти груди, то ли по вине избыточного веса, они столь непомерно вытянулись и опустились, что если их не подтягивать, они, возможно, и даже

наверняка, лягут прямо на живот, сморщенные и дряблые, будто пузыри, из которых выпустили воздух; право, если бы во Флоренции носили, как в Париже, капюшоны, эта дама с легкостью могла бы одеться на французский манер, закинув груди за плечи. Что я могу еще добавить? Если грудь ее так разнится от щек, на вид тугих и гладких благодаря обрамляющему их белому платку, что же сказать о брюхе, собранном, как у козы, в широкие толстые складки и отвислом, наподобие морщинистого мешка, что болтается у быка на шее? Вот она и приподнимает живот вместе с остальным тряпьем, когда ей по естественной надобности требуется опорожнить пузырь или по надобности похотливой загрузить свою печь.

Порядок моего рассказа требует все новых и все более удивительных откровений; и если ты не станешь воротить нос, а постарайся терпеливо внимать моим словам, твой больной рассудок вскоре обретет утраченное здоровье. Не знаю, как и подступиться к описанию Сеталийского залива [[20] - Сеталия была важным торговым портом на берегу Малой Азии, хотя ее огромная бухта была открыта всем ветрам. Отсюда и до конца пространного абзаца – сплошная развернутая эротическая метафора, рисующая физическую ненасытность и нечистоплотность дамы.], что лежит в долине Ахерона, среди темных зарослей, подчас окрашенных ржавчиной, подчас белеющих мутной и гадостной накипью и населенных диковинным зверьем. Устье, ведущее в порт, так широко распахнуто, что мое суденышко, оснащенное изрядной мачтой, не только свободно проходит в него, даже при небольшой волне, но может еще безо всякого ущерба потесниться и пропустить другой корабль, с мачтой не меньших размеров. Да что там! Весь флот короля Роберто [[21] - Сравнение с огромным флотом, который собрал неаполитанский король Роберто для отвоевания Сицилии у арагонцев.] в пору его могущества мог бы вольготно там разместиться, зачалив суда борт о борт, не убирая парусов и не отводя руля вверх.

Но удивительное дело! Всякий корабль, вступивший в тот залив, находил в нем гибель, а затем его выносило на берег истрепанным и побитым, подобно тому, как, говорят, случается возле Сицилии, между Сциллой и Харибдой: первая засасывает судно, вторая его выбрасывает. Поистине залив сей не что иное, как адская ненасытная бездна, алчущая все новых жертв, подобно тому, как море алчет притока вод, а пламя - дров. Я умолчу о кроваво-красных и шафранно-желтых реках, что попеременно текут из него, кипят белой пеной, отвратительных по виду и запаху, и поспешу заговорить о другом, как того требует мой замысел. Поведать ли тебе о селении Вонюччо, расположенном меж двух высоких холмов, откуда порой, будто из вулкана Монджибелло [[22] - То есть знаменитого вулкана Этна.], то под раскаты грома, то в тишине вырываются такие зловонные, гнусные сернистые испарения, что во всей округе нечем дышать? Сознаюсь, что когда я жил поблизости оттуда (причем гораздо дольше, чем хотелось бы), я не раз так страдал от этого мерзкого запаха, что в пору было руки на себя наложить. Более того, ото всей этой плоти, стоило ей распариться или притомиться, смердило, как от козла. Словом, собери воедино все, что я сказал, и ты поймешь, что так не воняет даже в логове льва и человеку брезгливому легче дышалось бы летом в гнилом болоте, нежели возле сей особы. Поэтому нечего дивиться, если ты и тебе подобные часто попадают впросак, купив кошку в мешке; только по этой причине я не стану попрекать тебя за то, что ты, как и другие, придаешь значение видимости, а не сущности, хотя, с другой стороны, именно тебе-то следует уважать истину, а не ходячее мнение; если же ты, познав истину, будешь по-прежнему упорствовать в своих заблуждениях, ты уподобишься скоту в человеческом образе. И хоть я поделился с тобой только незначительной долей того, что мне известно, я все же помог тебе узреть истину, донине от тебя скрытую, и вот почему, если ты не признаешь, что был неправ, я и впрямь сочту тебя скотиной из скотин.

Много я еще мог бы сказать тебе, но хочу сейчас потолковать об отчаянии, до которого ты дошел вчера в своем безумии, и чтобы ты понял, насколько ты безумен, начну издали, сочетая воедино дела минувшие и нынешние. Я уже довольно говорил о высоких душевных качествах той особы и об ее обычаях; и еще немало мог бы сообщить о долгих годах, прожитых ею на свете, когда бы не надеялся, что ты сам о них

догадался по ее лицу. Я не скрыл от тебя тайн се тела, возбуждившего твое вождение точно так же, как се мнимые добродетели пленили твою душу. Теперь же я поведаю об ее великом постоянстве, о моей кончине и обо всем, что за этим последовало, и речи мои пойдут на пользу как тебе, так и мне; мне, говорю, потому что в беседе с человеком, знавшим ее, утихнет, быть может, пламя ненависти, бушующее в моей памяти по вине ее злого нрава; и тебе, ибо чем больше я буду хулить по заслугам эту женщину, тем скорее ты поймешь всю ее подлость и тем ближе подойдет час твоего исцеления.

Что ни день, все более приходилось мне терпеть от этой распутницы, которой нипочем были мои укоры, и пока я раздумывал, куда податься за советом и помощью, в сердце моем скопилось столько мук и терзаний, что кровь, прихлынув к нему с необычной силой, вдруг воспалилась, подобно нарыву. Страдания мои были скрыты от глаз, скрытой оставалась и болезнь, пока испорченная кровь не залила внезапно сердце, положив тем самым конец моей жизни. Не успела душа моя вырваться на свободу из брэнной оболочки и земного мрака и рассеяться в прозрачном воздухе, как я обрел новое, несравнимо более острое зрение и сумел увидеть и понять истинный дух преступной и коварной женщины, без меры обрадованной моей смертью и почитавшей за великую победу то, что я умер раньше, нежели она. Очень скоро она перестала скрывать свое торжество, и оно стало явным для всех и каждого.

Эта хитрейшая особа уже задолго до того втайне прибрала к рукам мое добро и деньги, которые я, безумец, вверил ей, а не оставил своим детям (к тому же все случилось со мной так внезапно, что я не успел изъявить свою последнюю волю, распорядиться имуществом и привести в порядок дела и замыслы), но оплакивала она меня, рыдая в голос и заливаясь слезами (это она умеет делать получше любой другой), проклиная смерть, безжалостно разлучившую ее со мной, и горько жалуясь, что осталась одинокой, безутешной и горемычной; а в глубине души она проклинала жизнь мою, чересчур затянувшуюся, и радовалась наступившему наконец избавлению. Но никто, будь то мужчина или женщина, не мог усомниться в искренности се горя и не поверить ее лживым словам. С меня же довольно сознания, что тот, кому известно все, в том числе ее дела, воздаст каждому по заслугам, как справедливейший судья.

Когда окончился погребальный обряд и тело мое, обращенное в прах, к праху вернулось, сия досточтимая дама, задумав наверстать на старости лет все утехи развратной жизни, якобы упущенные в молодости, горя желанием поскорее воспользоваться незаконно присвоенным богатством и отлично понимая, что ни на свое приданое, ни на отцовское наследство ей никогда бы не прожить так, как она теперь намеревалась, не пожелала остаться в моем доме или возвратиться к своим знатым родственникам и свойственникам. В самых жалостных словах она заявила, что хочет запереться в каком-нибудь маленьком домишке, лишь бы он был поближе к церкви и к людям снятом жизни, и там-то она, одинокая вдова, и закончит свои дни в молитвах и благочестивом служении Господу. Так убедительно и так искусно повторяла она эти слова вновь и вновь, без устали, что нашлось немало простаков, готовых дать голову на отсечение, что так она и сделает.

Вот и сыскала она жилье как раз возле монастырской церкви, где ты ее впервые встретил, и поселилась там, не затем, разумеется, чтобы читать молитвы, так как, по моему мнению, она ни одной не знала и знать по хотела, а затем, чтобы скрыться подальше от чужих глаз, а в особенности от людей, заботящихся об ее чести, и дать волю своей ненасытной похоти, которой мало было стараний всех мужчин вместе взятых, и только монахам, этим святым и милосердным людям [[23] - Характерный для Боккаччо сатирический выпад против испорченного духовенства.], утешителям вдов, дано было наконец утолить ее жар. Нацепила она, как ты видел, черную шаль на голову, прикрыв ею лицо, дабы прослыть скромницей и в то же время ловко заигрывать со всяким встречным и поперечным; ты, должно быть, заметил, как эта тщеславная женщина по привычке то слегка откинет шаль с лица, то снова закроется ею; беседует с кем-нибудь, а сама что ни слово, то поправит белый платок на шее, то высунет из-под шали руку, чтобы похвалиться ее красотой и белизной на черном фоне.

Итак, выйдя из дома, направляется она в церковь, укутавшись в черную шаль; только не думай, прошу тебя, что она идет послушать мессу или поклониться Господу, – идет она туда, чтобы раскинуть сеть, так как ей давным-давно известно, что в церковь эту со всех сторон нашего города сходятся молодые люди, и манок у нее уже наготове, как у птицелова, подстерегающего горлинок; и, подобно змее, незаметно для глаза затаившейся в густой траве, ей нередко удается схватить крупную добычу. Однако, будучи любительницей разнообразной пищи, она, едва насытившись, возвращается за новым уловом; к тому же двух-трех пташек ей мало, на этом она не остановится. Ты сам знаешь, вру я или говорю правду, ведь если бы у тебя даже была бы тысяча глаз, ты и то не сумел бы остеречься и неизбежно угодил бы в расставленные клейкие сети.

Придя, стало быть, в церковь, осмотревшись украдкой по сторонам и быстро охватив глазом всех собравшихся, она принимается нещадно тереть многострадальные четки, перебирая их то правой рукой, то левой, а на самом-то деле ни одного «Отче наш» не прочитает, слишком много у нее дел без того, надо перекинуться словечком то с одной, то с другой, этой шепнуть что-то на ушко, а ту выслушать; впрочем, других ей слушать неохота, она сама чересчур горазда разглагольствовать. Кто-нибудь, возможно, скажет: «Пусть она не помолилась в церкви, зато она восполнит это с лихвой у себя в домике». Но он будет далек от истины, и если человеку постороннему и легковверному простительно так ошибаться, то я зато знаю, что говорю, потому что любая ее молитва, хотя бы, к примеру, «Отче наш», тотчас облегчила бы мою участь и, подобно свежей воде, остудила бы на мгновение сжигающий меня жар.

Но что я сказал? Быть может, я неправ; быть может, она все же молилась, только за упокой другой души. Мне стало известно, что недавно из мира живых ушел человек, чья смерть так ее расстроила, что она целую неделю отказывалась выкушать хотя бы яичко или отведать лапши с мясом. Но я говорю с такой уверенностью, потому что знал и знаю, что все ее молитвы – это французские романы да итальянские стихи, воспевающие Ланселота и Джиневру или Тристана и Изольду, их подвиги и любовные приключения, рыцарские турниры, состязания и празднества; она так и трепещет, когда читает, как Ланселот, или Тристан, или кто другой встречался тайком, наедине со своей дамой в ее покоях; ей воочию представляется, чем они там заняты, и она охотно занялась бы тем же, да, впрочем, ей недолго приходится этого ждать.

Читает она также вирши о загадках или еще поэму о Флорио и Бианчифиоре, и другие книги в этом же роде; немало, должно быть, извлекает она уроков из этих книг, наподобие испорченной девчонки, что забавляется с домашними зверьками, пока не найдется такой забавник, который обучит ее иным играм. А чтобы ты все наконец узнал об ее нынешней жизни, скажу тебе, что после моей смерти она взяла в любовники того самого второго Авессалома, о котором я уже упоминал, человека, мало пригодного для удовлетворения ее потребностей; он же, имея все законные основания уклониться от сей участи и не понимая, как благоволит к нему Провидение, шагнул прямо в ловушку. Но обида, нанесенная мне, не останется без отмщения, так как жена подарила ему сына, которого он кормит и воспитывает как родного, хотя сыпок этот такой же родной ему, как Христос – святому Иосифу. Когда он подрастет, тогда и будет отомщена моя поруганная честь, если ее считать поруганной; недаром гласит народная пословица: «Как аукнется, так и откликнется» – а упомянутый случай не исключение. Охотник до чужого добра должен знать, что ему отплатят тем же.

Вот какую благочестивую и святую жизнь вела вблизи монастыря женщина, что была мне не супругой, а мучением, пока смерть нас не разлучила, та, кого тебе восхваляли за добродетель и всяческие достоинства. Я уже поведал тебе, какие именно добродетели и достоинства были ей свойственны и любезны, и так кратко, как умел, открыл тебе, кто она такая. Теперь ты видишь, куда завели тебя опрометчивость, несообразительность и безрассудство и ради кого ты опутал душу, свободу, и сердце цепями любви и отдал их во власть нестерпимым горестям, что и привело тебя наконец в сей пустынный дол; и я без усталости буду попрекать тебя этим заблуждением.

А сейчас, выполняя обещанное, я приступаю к последней части моего рассказа, где тебя ждут еще большие разочарования, по зато все ближе подходит час твоего избавления. Ты, несчастный, счел себя осмеянным ею, и я не стану утверждать обратного, потому что ты все равно мне не поверишь. Но ты не принял бы этого так близко к сердцу, когда бы знал ее так хорошо, как знаешь ныне. И вот теперь ты увидишь, что и в этом случае она поступила как ей свойственно, и окончательно изгонишь ее из сердца, когда я поведаю тебе о том, как мне довелось услышать о твоём письмеце.

Многие приходят к нам из вашего мира и сообщают обо всем, что у вас делается; тем не менее иногда Господь разрешает нам самим воротиться на время к живым, чаще всего дабы напомнить о себе, а изредка и по такому неводу, какой привел меня к тебе. Случилось так, что я посетил ваш мир как раз на следующую ночь после того, как ты написал своей даме первое письмо; побродив немного по улицам, я направился к дому, где живет пленившая тебя особа, влекомый милосердием и добрыми чувствами, какие мы испытываем не только к друзьям, но и к врагам; вот там-то я и услышал, уже после того, как обошел весь дом и заглянул во все уголки, разговор о письме, причинившем тебе столько горя.

Было уже за полночь, когда я зашел в спальню, осмотрел ее, как и все остальные покои, и собрался было уйти, как вдруг заметил лампаду, зажженную перед образом божьей матери, не очень-то избалованной молитвами хозяйки этой спальни; и, кинув взгляд на постель, увидел, что лежит сия особа не в одиночестве, как следовало бы ожидать, а веселится вовсю с любовником, о котором я тебе давеча говорил. Я задержался ненадолго, желая узнать, в чем причина их веселья, а она, по просьбе своего милого, встала с постели, зажгла светильник и, достав из кованого ларца письмо, присланное тобой, вернулась на место с письмом и светильником. Вот тогда-то, пока один держал светильник, а другая читала письмо вслух, издеваясь над каждым словом, я и услышал, как произнесли твое имя с хохотом и насмешками; уж как только они тебя не обзывали, то слюняем, то дубиной, то растяпой, то паскудником, и что ни слово, бросались обниматься и целоваться, а попеременно с поцелуями спрашивали друг друга, уж не во сне ли ты написал сие преглупое письмо. И приговаривали: «Думаешь, котелок-то у него варит? Видал такое чучело? И вовсе мозги набекрень! Свихнулся, а туда же, в умники лезет! Чума ему в глотку! Такому только в огороде, на луковых грядках копать а не лезть к знатым дамам! Что скажешь? Да кто бы мог подумать! Проучить бы его палкой, отхлестать бы по щекам, чтобы пух и перья летели!»

Ах ты, горемычный! Уж так они тебя костерили да поносили, будто ты перед ними хуже грязи. Музы, столь любимые и почитаемые тобой, были объявлены дурищами, а все твои занятия – вздором несусветным. Еще того хуже: Аристотель, Туллий, Вергилий и Тит Ливий и многие другие прославленные мужи, ставшие, по моему разумению, твоими друзьями и близкими, были втоптаны в грязь, осмеяны, унижены, выставлены в дурацком и подлом виде, как бараны на болоте. И тут же твоя дама со своим возлюбленным что есть силы хвалились и чванились, будто в них одних вся честь и слава земная, и такие подбирали для этого мерзостные слова, что впору камням было выскочить из стен и пуститься наутек; и стало мне ясно, что неумеренное обжорство и пьянство, а также желание покрасоваться друг перед другом, глумясь над тобою, совсем свело их с ума, какового у них, впрочем, никогда и не было. За такой болтовней и пересмешками провели они большую часть ночи, и, задумав выманить у тебя новые признания и письма, чтобы им было над чем позубоскалить, они тотчас же сочинили ответ, который ты и получил; а второе твое письмо их и впрямь насмешило больше, нежели первое. Если бы новоиспеченный любовник не боялся, что может стать жертвой собственной писанины, так как, очевидно, догадывался о тщеславии и ветрености своей возлюбленной, ты получил бы, несомненно, еще второе и третье послание; а того гляди, дошло бы до четвертого и пятого. Вот как потешалась над тобой сия мудрая и доблестная дама со своим недоумком любовником. И там, где ты надеялся обрести любовь и отраду, тебя ждало только осмеяние и презрение.

От всего увиденного и услышанного пришел я в сильнейшее негодование, не за тебя, ибо ты мне был еще почти незнаком, но попросту оттого, что подобное безобразие невозможно было спокойно терпеть, и удалился, исполненный гнева и отвращения. Тебе же, как видно, все стало известно, но не из уст доброжелателя, а из сплетен глупых и злых людей. Поэтому то небольшое, что ты понял, довело тебя до отчаяния. А что бы с тобой случилось, когда бы твой больной рассудок постиг все, как оно было на деле? Уверен, что ты, не долго думая, накинул бы себе веревку па шею. Остается пожелать, чтобы веревка в таком случае оказалась крепкой и выдержала тебя, не то ты сорвался бы и остался жив, и поделом тебе было бы за все грехи! Но если бы у тебя тогда хватило ума и здравого смысла и ты бы сам додумался до всего, что теперь открыл тебе я, а еще ранее могла бы при желании с твоей стороны подсказать твоя наука, ты бы посмеялся, видя, что женщина эта не исключение среди других; надеюсь, ты вскоре так и поступишь, и это будет вполне разумно.

Все, что было сейчас говорено, касалось первой половины твоих сетований, теперь скажу то же о второй; кабы ты поразмыслил над женской суетностью, ты вспомнил бы собственные слова, не раз тобой повторенные (а говорил ты, что женщины всего более гордятся, когда хвалят их красоту, и для этого они из кожи вой лезут, и чем больше глаз на них уставится, тем они считают себя красивей, доверяя скорее числу поклонников, нежели собственному зеркалу), и ты бы сообразил, что вовсе ей не противен, а напротив, твои влюбленные взгляды весьма ей приятны. А так как женщинам нежелательно, чтобы лестное для них внимание оставалось для других незамеченным, она и указала на тебя пальцем, дабы всем подругам стало известно, что ее по-прежнему находят прекрасной и восторгаются ею и у нее все еще есть поклонник, да не кто иной, как ты, известный всем как великий знаток женских прелестей. Стало быть, указывала она па тебя с удовольствием, а не с пренебрежением. Разумеется, кто-нибудь может сказать иное: она-де хотела доказать, что посвятила себя теперь Богу и осудила жизнь, которая была ей прежде мила, а поэтому и указала на тебя пальцем, говоря: «Смотрите, как недруг господень противится моему спасению; смотрите, кого он послал, дабы сманить меня на прежний, отринутый мною путь»; либо она при этом повторяла те же слова, что говорила любовнику, когда показывала твое письмо. А еще найдется и такой, кто скажет, будто дело обстояло вовсе не так и не этак, и указала она на тебя не потому и не посему, а попросту из желания чесать язык да пустословить, до чего она превеликая охотница, так как полагает, что никто не умеет искусней вести беседу; не стало уже пищи для вранья, вот она и указала на тебя, чтобы поврать в свое удовольствие. Но какова бы ни была причина ее поступка, тебе следовало помнить непреложную истину, что у женщины нет разума и поэтому ей не дано вести себя разумно; и ты заслужил всяческое порицание за то, что, однажды увидев и полюбив ее, приписал ей, на старости ее лет, то качества, которых у нее в молодости-то не было от природы и не прибавилось от жизненных испытаний, а именно – разум и возможность поступать разумно. Следовательно, ты неверно судил и о ней, и о себе, а потому сам виноват в своих тяжких горестях.

Но довольно мы с тобой говорили о злобе, подлости и низости женщин и все это тебе подтвердили не только мои слова, но и поступки твоей дамы, безжалостно осмеявшей твое письмо и указавшей на тебя другим женщинам по той или иной из упомянутых причин; побеседуем же теперь о твоей пылкой любви к ней, о помрачении твоего рассудка в связи с этим чувством. Предположил!, что твой приятель, восхвалявший ее добродетель, говорил правду, но если ты ему поверил, ты не мог почувствовать к ней плотского вожделения, зная, что добродетель ее будет противиться твоей похотливой страсти и ты, следовательно, никогда не добьется желаемого: выходит, что не добродетель сей дамы привлекла тебя, а только ее внешний облик да вдобавок кое-что увиденное или услышанное тобой, придавшее надежду на исполнение твоих низменных желаний; но где же были твои глаза и как ты недоглядел, что она стара и к тому же омерзительна и противна взору? Какая слепота духа и затмение рассудка побудили тебя искать смерти, едва ты потерял надежду на утоление своей безумной страсти? Как мог твой помутившийся разум стать таким убогим, жалким и беспомощным, что без этой женщины весь мир перестал для тебя существовать и ты ноже умереть? Ужели мир так мало для тебя значил? У; ты так оробел, так низко пал, так одичал, уподобясь

лесному или пещерному жителю, так чужд стал всем людям на свете, что нашел в этой женщине единое свое прибежище и блаженство, а обманувшись в ней, вздумал призывать смерть? Какую радость, честь или пользу принесла или обещала она тебе, помимо той дурацкой, скотской надежды, что не сбылась? А что сулила тебе эта надежда? Возможность заключить в объятия дряблое, увядшее, вонючее тело, до которого у тебя пропала бы охота, кабы ты знал, как лихо она им торговала и все еще торгует! Быть может, ты рассчитывал, что она будет платить тебе за эти объятия и столь любезную ей доблесть, как платила упомянутому мной кавалеру? В таком случае ты ошибся, потому что в ту нору она тратила па пего мои деньги, нынче же ей приходится расставаться со своими кровными, а поэтому она наверняка стала куда более прижимистой. Прости-прощай бывшая щедрость, воспетая твоим приятелем! Ну, а коли не этого, чего еще ты от нее ждал? Мог бы ты с ее помощью скинуть несколько лет? Разумеется, по только те, что еще впереди, и ты был бы в этом случае не первому она сократила годы; но вряд ли ты этого хотел; а прибавить их не в ее власти, это может только Господь. Мог бы ты от нее научиться чему-то, чего? Возможно, но только дурному, этому она уже многих обучила; но. вряд ли ты к этому стремился; другого от нее не дождешься, ибо она сама ничего хорошего не знает. Могла бы она дать тебе райское блаженство при жизни твоей или после смерти? Что же, если считать райским блаженством то, чем она занималась с любовником, глумясь над тобой, многие тогда могут зваться блаженными; но вряд ли ты это считаешь блаженством, а не пыткой, хотя рассудок твой и погружен во тьму; истинного же блаженства она не знала и знать не будет, так как сама обрекла себя на вечные муки за плотские наслаждения. Что же могла она еще совершить для тебя? Право, не знаю, да и тебе, должно быть, это неведомо. Может статься, она сделала бы тебя приором [[24] - Во времена Боккаччо Флорентийская республика управлялась синьорией, состоявшей из шести избираемых цехами приоров.], чего нынче жаждут очень многие из твоих сограждан; только сомневаюсь, чтобы это ей удалось, так как мне помнится, что ваш Капитолий и ваши сенаторы [[25] - Капитолий – речь идет о дворце синьории. Сенаторы – наиболее влиятельные граждане Флоренции.] но очень-то прислушиваются к советам таких хищных волков знатного происхождения и древнего рода, что входят в ее семейство. Однако ты можешь возразить: «Нет, ей это по силам», и будешь прав, если она приглянулась тем, чьи голоса решают дело, и они захотят ее ублажить. Но вряд ли это случилось бы, оттого что среди них не сыскать даже одного столь ослепленного глупца, как ты. Эх, бедняга! Сколько бы я мог назвать тебе важных господ, знакомством с которыми ты сейчас, в горькую минуту, гордился бы, а ранее пренебрегал, несмотря на возможную выгоду; сколько есть благородных и знаменитых людей, что дорожили бы твоей дружбой, стоило тебе захотеть. А ты по чрезмерному и недостойному высокомерию, тебе свойственному, ни с кем не сблизился и был ко всем нетерпим, требуя от каждого того, чего сам не делал, то есть уступок и согласия, в то время как ты сам должен был усердно подражать и следовать примеру других. Зато перед этой женщиной ты предстал кротким смиренником, а когда заметил, что она приняла тебя не так, как должно, ты не ушел от нее, унизившей тебя, как уходил не раз от тех, кто мог тебя возвысить, нет, ты стал призывать смерть, хотя смерти-то заслужил за грех, к коему склонилась твоя душа. Что за подлая тварь тебя покорила? Старуха, хрипатая, сморщенная, больная, собачья радость, не человечья, которой только у печки сидеть, а не красоваться на людях. Ладно уж, не будем говорить обо всем, что ты благодаря своей учености приобрел с божьей помощью, и рассмотрим, что дано тебе природой; вот когда ты, уж не раз проявивший свой буйный нрав, вновь примешься рыдать и вопить не потому, что был осмеян и отвергнут, а потому, что тебя, как коршуна, подманили и поймали на требуху. Природа была» весьма милостива, сотворив тебя мужчиной, а ее женщиной, и я уже доказал тебе, в начале нашей беседы, насколько мужчина – существо более достойное и благородное, нежели женщина. Далее, если взять ее высокий рост, статное сложение и красивое, на твой взгляд, лицо – что же, ты тоже ростом не мал и осанкой не хуже. Не вижу я в тебе никакого изъяна, лицом же ты среди мужчин не менее приятен, чем она среди женщин, в особенности если принять во внимание, что она-то свое тысячу раз протрет да тысячу раз намажет, в то время как ты свое то ли побреешь, то ли нет, да только умоешь свежей водой. Скажу больше: оно у тебя куда красивей, хоть ты и мало о нем заботишься, и правильно поступаешь, потому что такие заботы не приличествуют мужчине. Все же есть одно, чем природа одарила ее щедрее,



чем тебя: несмотря на то, что в бороде твоей пробивается седина, а виски из черных стали белыми, твоя дама, если не ошибаюсь, прожила на свете много дольше, чем ты, хотя и с меньшим толком. Итак, выходит, что изо всех перечисленных достоинств ты богаче первыми, она же последними, а тех, что в середине, у вас поровну, и поэтому ей следовало пойти тебе навстречу и первой в тебя влюбиться. Но она этого не сделала, и вот ты уже готов покончить счеты с жизнью из-за такого ее упущения? А па деле горевать-то надлежит ей, потому что она из-за своего упущения только проиграла, ты же выиграешь, если хорошенько пораскинешь мозгами.

А теперь обратись мысленным взором еще к одному вопросу, а именно к тому, в чем она, по-твоему, стоит выше тебя и о чем я еще не говорил. Ты вообразил, будто она тебя отвергла по той причине, что она якобы дама благородного происхождения, а ты якобы простолюдин. Предположим, что это так, по ты только взгляни на второго Авессалома да и на всех остальных, и сразу поймешь, что оказался в немилости вовсе не по вине своего происхождения. Тут, как мне кажется, ты впал в тяжкое заблуждение, поддавшись примеру черни, которая всегда судит по видимости и пренебрегает истиной. Ужели ты не зеваешь, в чем отличие подлинного благородства от мнимого? Не знаешь, что именно делает человека благородным, а что ему в этом препятствует? Уверен, что знаешь. Любому новичку в философской науке известно, что все мы произошли от одних и тех же отца с матерью и всех нас создал творец равными друг другу душой и телом; за что же одному было зваться благородным, а другому низким, как не за то, что каждый, будучи волен поступать по своему усмотрению, либо шел по стезе добродетели, ведущей к благородству, либо предавался грехам, и тогда ему в благородство было отказано? Следовательно, добродетель явилась первым истоком благородства. Теперь оглянись на ныне здравствующих родичей этой дамы и на ее предков и признай, много ли у них достоинств, за которые их назовешь благородными. Поначалу они были сильны обильным потомством, что является природным даром, а не добродетелью, и воспользовались этой силой, чтобы грабить, захватывать, обирать более слабых соседей и обогащаться такими преступлениями, ненавистными Богу и людям; а потом, возгордясь своим богатством, они решились последовать примеру знати и возложили на себя звание рыцарей, чем в тот же миг опозорили и самих себя, и мантии с беличьим подбоем, и воинские доспехи. Привелось ли тебе слышать хотя бы об одном славном, похвальном или значительном деянии, совершенном кем-либо из них ради общего дела или частного лица? Конечно, никогда. Стало быть, истоками их благородства явились сила, грабеж и спесь. Те из них, что живут г, наши дни, ведут такую жизнь, что остается пожелать им скорейшей кончины; а если, паче чаяния, среди них и сыскался, бы человек благородный, какое это имеет к ней отношение? Точно так же, как она, им мог бы гордиться ты или любой другой. Благородство нельзя передать по наследству, как нельзя передать добродетель, ученость, святость и тому подобное; каждый сам должен этого достигнуть, и тот, кто к этим достоинствам стремится, их и обретет. Но как бы там ни обстояло дело с другими, обрати теперь свои взоры на ту, о ком мы с тобой ведем речь и кого ты считаешь столь благородной дамой, и посмотри, кто она сейчас и кем была раньше. Если я составил о ней верное мнение после долгих лег, прожитых вместе, а ты внимательно выслушал все, что я давеча рассказал, ты поймешь, что в ней гнездится довольно пороков, чтобы заляпать грязью даже императорскую корону. Как же смеет она кичиться перед тобой своим благородным происхождением или порекать тебя за низкий род? Кабы не боялся я сойти в твоих глазах за льстеца, я легко и убедительно доказал бы, что ты куда благороднее, чем она, хотя гербы твоих предков и не висят в церкви. Но скажу одно: обладай ты ничтожно малой долей благородства или будь у тебя его не менее, чем в славном роду короля Бандо Бенвичского [[26] - Бан, король Бенвича, отец рыцаря Ланселота.], ты, полюбив эту женщину, изгадил его и обесценил. Я мог бы и далее, помимо всего, что уже говорено, продолжать мою проповедь и в самых суровых словах обличать пленившую тебя злодейку и осуждать твое. безрассудство и вину, по я удовольствуюсь сказанным и теперь, в свою очередь, выслушаю твой ответ.

Низко, опустив голову, как надлежит виновному, внимал я долгой и правдивой речи духа; когда же он закончил ее и умолк, я поднял к нему омытое слезами лицо и сказал:

– Благословенный дух, ты разъяснил мне как нельзя лучше, что приличествует человеку моих лет и занятий, а главное, разоблачил всю подлость той, кого я по неразумению считал достойнейшей и кого избрал госпожой души моей; ты показал мне ее привычки и пороки, ее поистине, удивительные добродетели и многое другое: порицая меня далеко не так сурово, как я заслужил, свои прегрешения, ты доказал мне, насколько мужчина по самой природе своей превосходит женщину благородством, и дал мне возможность почувствовать, кто я такой. Все это по отдельности и в совокупности произвело с бурный переворот в моих суждениях и сознании, что теперь мне все представилось в ином свете, и, несмотря на то, что мне известно, как милосердна та, по чьей воле ты явился, я едва смею уповать на прощение или спасение тобой обещанное, настолько тяжек и омерзителен грех. А потому боюсь, как бы твой приход, заду мне па благо, не обернулся мне во вред: ведь прежде страдая под гнетом тоски и суровых, сковавших: цепей, я еще не сознавал грозившей опасности и собственного ничтожества, а потому и сносил их легче, не буду сносить впредь. Каждая слеза моя умножится во сто крат, а страх разрастется, пока не убьет меня; следовательно, если ранее мне было плохо, то впредь будет во много раз хуже.

Дух, исполнившись сострадания, взглянул на меня и ответил:

– Оставь сомнения! Будь тверд и упорен в благих намерениях, которыми сейчас проникся. Доброта господняя столь беспредельна, что ужаснейший грех, зародился в злобном и порочном сердце, будет сброшен и смыт с души грешника и великодушно прощен в случае чистосердечного раскаяния. Ты согрешил по естеству своему и по неведению, и этим нанес Господу гораздо меньшую обиду, чем если бы согрешил по злему умыслу; вспомни притом, сколько тяжких и злостных прегрешений смыл неиссякаемый родник его милосердия и, более того, как много врагов, восставших против его власти, было причислено им к лику святых за искреннее покаяние, весьма ему угодное. И если я не обманываюсь и слезы твои не лгут, я вижу в твоём великом смирении залог того, что ты, оскорбивший Господа, будешь прощен. Я уверен, что ты жаждешь приложить все усилия, дабы искупить свой грех; и буду поддерживать тебя, как смогу, чтобы не дать тебе сорваться в бездну, откуда пет возврата.

Я отвечал ему:

– Одному Господу, читающему в сердце человеческом, ведомо, как я страдаю и каюсь в сотворенном зло и как сердце мое, подобно очам, источает слезы; но молю тебя, подарившего мне надежду на спасение ценой раскаяния и искупления вины, научи меня, уже познавшего раскаяние, как найти теперь путь к искуплению.

Он сказал:

– Если хочешь полностью искупить свои поступки, тебе надлежит отныне во всем действовать наперекор тому, как ты действовал прежде; все, что было тобой любимым, должно стать ненавистным; все твои помыслы, направленные на завоевание любви этой женщины, будут теперь направлены на обратное; иначе говоря, ты должен сделать все, чтобы добиться ее ненависти; теперь слушай внимательно и постарайся правильно понять мои слова, чтобы не совершить ошибки. Ты полюбил ее, потому что она казалась тебе прекрасной и ты надеялся, что она станет тебе отрадой в делах любовных. Я хочу, чтобы ты возненавидел ее красоту, причину твоих былых, а также, может стать, будущих прегрешений; я хочу, чтобы ты возненавидел все, что обещало отраду твоему вожделению; я хочу, чтобы спасение души было для тебя единственно желанным и приятным; и если ранее ты искал случая ее увидеть, потому что она радовала твой взор, то теперь ты должен исполниться отвращения и избегать ее; я хочу, чтобы ты отомстил ей за обиду, тебе причиненную, и это принесет пользу как тебе, так и ей.

Неоднократно случалось мне заметить, что все вы, люди, преуспевшие в искусстве слова, как в древности, так и в наши дни, умеете донельзя расхвалить и прославить во всеуслышание любезное вам существо, нередко в ущерб истине, а вслед за вами и

другие превозносят до небес его добродетели и заслуги; и, напротив, стоит вам кого невзлюбить, пусть он всем хорош и достоин хвалы, вы найдете самые правдивые слова, чтобы сбросить и низвергнуть его в адскую бездну. Поэтому ежели ты когда-то намеревался воспевать эту обманщицу, тебе теперь надлежит хулить и уничивать ее; и тебе это не доставит труда, оттого что правду говорить легко. Сделай все, что можешь, дабы подобрать такие слова, чтобы она узнала себя, точно так же, как узнают ее другие, потому что в свое время, расточая ей восторги, ты бессовестно лгал и сплетал сети для таких же легковверных глупцов, как ты сам, почитавших себя недостойными прикоснуться к ее стопам, настолько высоко ты ее вознес; ныне же ты скажешь правду, откроешь глаза тем, кто был обманут, а ее унизишь, что также зачтется для твоего спасения. Итак, последуй моему совету, начни действовать как можно скорей и откровенней; это тебе и послужит искуплением.

Я ответил:

– Если Господь будет столь благосклонен, что выведет меня из сего лабиринта, я сделаю все, что в моих силах, дабы искупить свой грех; пи уговоров, ни убеждений мне не потребуются, чтобы очистить душу от тяжкой вины. И если только я сумею искусно облечь свою мысль в слова, исполненные силы и доблести, то никому не завещаю отомстить за понесенное мною оскорбление [[27] - В XIV веке было живо убеждение в том, что оскорбление не должно оставаться неотомщенным. См., например, Данте (Ад, XXIX, 16 – 36), где он корит себя за то, что не отомстил за убийство Джери дель Белло, своего родственника. Боккаччо отомстил обидчице своим «Вороном».], а сделаю это сам, лишь бы мне дано было время, чтобы успеть подобрать рифмы или излить душу в прозе. Настоящую же месть, которую многие предпочли бы совершить с помощью булата, я предоставлю Господу Богу, ибо они ни один дурной поступок не оставит без наказания. Поверь, если только смерть не помешает мне, я отдам все силы, чтобы ослабить ее подлость, обличить ее жестокость, проучить ее, дабы она поняла, что нельзя издеваться над людьми, и пожалела, что встретила меня, точно так же как я жалел и жалею, что встретил ее. Отныне покуда у меня достанет сил, в нашем городе ни о чем другом и распевать не будут, кроме как об ее горестях и злоключениях, я же продолжу упорные труды, дабы в стихах своих оставить потомству свидетельство об ее недобрых о бесчестных делах.

Сказав это, я умолк, но дух также безмолствовал; и я заговорил вновь:

– Пока еще медлит тот, кого ты ждешь, ответь мне, прошу тебя, па один вопрос. Я не помню, чтобы в те дни, когда ты жил еще среди смертных, нас с тобой связывали узы родства, приязни или дружбы; меж тем в том краю, где ты теперь пребываешь, есть немало таких, что были при жизни моими друзьями, приятелями или родными; почему же на тебя, а не на кого-либо из них была возложена задача явиться сюда, чтобы спасти меня?

На этот вопрос дух ответил:

– В том мире, где я обитаю, не знают ни дружбы, ни родства, ни приязни; всякий, кто только может, поспешает совершить любое доброе дело; нет сомнений, что с этой задачей, как и со многими другими, гораздо лучше меня справились бы все, кто там находится; все мы в равной мере исполнены милосердия, и каждый с охотой и радостью взялся бы за нее. Но выбор пал па меня, ибо вина, за которую мне велено осудить тебя ради твоего же блага, частично лежит и на мне, так как женщина эта некогда была моей, а потому, разумеется, ты должен стыдиться меня более, чем кого-либо другого, – ведь ты оскорбил меня, бесчестно позарившись па мое добро. Помимо того, всякий, кроме меня, постеснялся бы рассказать тебе о моих делах все, что тебе надлежало узнать; да и ты не поверил бы ему так, как мне; уж не говоря о том, что никто не мог бы знать всей ее подноготной и поведать тебе об этом как я, хоть и я сказал далеко не все. Вот почему, полагаю, был я избран из числа остальных, дабы прийти сюда и лечить тебя от болезни, которая не поддается почти ни одному лекарству.

На это я промолвил:

– Какова бы ни была причина твоего прихода, я поверю всему, что бы ты ни сказал, и вовек не забуду того, что ты сделал; по заклинаю тебя блаженством, которое ты так жаждешь обрести, разреши мне проявить свою благодарность за доброе дело, и если я хоть чем-то могу облегчить и уменьшить твои страдания, потребуй этого, пока мы не расстались, и знай, что я выполню все, что в моих силах.

Дух сказал:

– Эта дрянная бабенка, бывшая моей женой, занята, как тебе известно, чем угодно, только не заботой о моей душе. Дети еще слишком малы, чтобы на них понадеяться; родственникам до меня и дела нет (они только и думают, как бы обобрать моих сирот); поэтому, если ты так великодушен, я попрошу тебя, как только ты покинешь сен лабиринт, а это будет, с помощью божьей, очень скоро, и захочешь помочь мне и утешить меня, раздай милостыню беднякам, закажи мессу и помолись за упокой души моей; более мне ничего не надобно. А сейчас, сдается мне, уже близится час твоего избавления; обрати взор свой к востоку и узри, какой чудный свет исходит оттуда [[28] - очевидный символ истины, озаряющей помутившийся разум Боккаччо.]; если я не ошибся, нам пора прощаться без дальних слов.

Едва дух вымолвил это, я повернулся в сторону востока и увидел, как из-за горных вершин мало-помалу разливается свет, будто занялась заря, предвещающая восход солнца. Внезапно свет этот воссиял нестерпимым блеском, озарив и высветлив до белизны все небо; лучи его, не приближаясь более, легли перед нами, будто широкая, светлая дорога, как бывает, когда солнце, пробившись меж двух темных туч, отбрасывает на землю длинную яркую полосу; и как только свет коснулся меня, я стал каяться в грехах своих еще пуще прежнего. Но в тот же миг с плеч моих свалилась какая-то невыносимая, гнетущая тяжесть, и я, дотоле неподвижный и бессильный, внезапно почувствовал себя легким и свободным и понял, что мне разрешено удалиться. Почудилось мне, будто я сказал духу:

– Если ты находишь, что пришло время идти, то прошу тебя, уйдем скорее, ибо ко мне вернулись прежние силы и воля, а путь предо мною свободен и открыт.

И дух весело ответил:

– Порадуй же меня: сделай шаг-другой, и скоро ты выйдешь отсель; однако берегись, как бы не сойти с расстилающейся пред тобою светлой тропы, по которой я поведу тебя, не то тебя вмиг оплетут тернистые ветви, что тянутся со всех сторон, и снова придется, как прежде, вызволять тебя; и одному Богу известно, удастся ли еще раз вымолить эту помощь.

И тут, мнится мне, я радостно молвил:

– Идем же скорей, бога ради, и можешь спокойно положиться на мою осмотрительность; знай, что даже если бы меня ожидал почет во сто тысяч раз больший, чем насмешки, доставшиеся мне на долю, я все равно по надел бы цепи, сброшенные по воле той, кому я отныне всегда буду воздавать благодарственные молитвы, и с помощью твоих добрых и великодушных поучений.

Дух двинулся вперед и направил стопы свои по сияющей тропе к дальним, высоким горам; он взошел на одну из вершин, чуть ли не касавшуюся неба, с великим трудом увлекая меня за собой и продолжая беседу о разных приятных предметах. Когда мы стали на вершине, мне почудилось, что сияющее небо раскрылось надо мной, и я вдохнул сладостный, нежный, бодрящий воздух, увидел, как зеленеют цветущие луга, и в сердце мое, дотоле заполненное тяжелой мукой, проникло утешение и вернулась былая радость. По требованию духа я обернулся и окинул взглядом долину, откуда он меня

вывел, но то была, как я понял, не долина, а глубочайшая адская бездна, полная беспросветного мрака и жалобных стонаний. И когда он молвил, что отныне я свободен и волен поступать как мне угодно, я испытал такое счастье, что хотел броситься к его ногам и излить свою благодарность за его доброту, как вдруг одновременно исчезли и он, и все, что мне снилось.

Я проснулся, обливаясь потом, как после тяжелых трудов, будто не во сне, а наяву взбирался на гору, и в великом изумлении стал размышлять обо всем, что видел и слышал; я перебирал в памяти одно за другим и не знал, правда или нет все, что было мне говорено, по наконец пришел к заключению, что все это чистая правда, в чем впоследствии и убедился, побеседовав со многими людьми. А потом, не иначе как по вдохновению свыше, я твердо положил покинуть наяву злосчастную долину.

Видя, что солнце поднялось уже высоко над землей, я встал с постели, пошел к друзьям, нередко утешавшим меня в горестях и рассказал им по порядку обо всем увиденном и услышанном. А они превосходно растолковали мой сон до мельчайших подробностей и выразили полное со мной согласие; с их поддержкой и с помощью того, что я узнал и что способствовало моему исцелению, я и принял решение навек расстаться с пагубной любовью к той негодяйке.

Божье милосердие благоприятствовало мне, и вскоре я вернул потерянную свободу, и теперь, как некогда, принадлежу опять сам себе; вечная хвала и благодарность тому, кому я этим обязан. Без сомнений, если только время позволит, я сумею так изобличить в моих писаниях ту, что по своей великой подлости вздумала потешаться со своими любовниками за чужой счет, что она уж никогда не захочет показывать кому-либо полученные письма, а имя мое будет вспоминать с мукой и стыдом. Теперь же прощайте все, да хранит вас Господь.

Маленькая моя книжечка, вот и пришел тебе конец и я могу дать отдых руке; может статься, ты послужишь на пользу всем людям, в особенности же молодым, что смело пускаются в путь по опасным дорогам без провожатого, отважно полагаясь на самих себя; свидетельствуй перед ними о великой милости, ниспосланной мне матерью спасителя нашего. Но пуще всего опасайся, как бы не попасть в руки к дурным женщинам и прежде всего к той, что самого дьявола превосходит коварством и по чьей вине ты и появилась па свет: там тебя ждет плохой прием. Ее же должно пронзить стрекалом поострее, чем то, коим ты располагаешь. И если позволит тот, кто посылает нам всяческие блага, таковое скоро найдется и, не дрогнув, поразит ее.

Сентябрь 1929 г.

#### Комментарии

Полной ясности в расшифровке этого названия нет. Большинство исследователей, однако, полагают, что название оригинала («Corbaccio») происходит от corbo, corvo (ворон), птицы, символизирующей дурное предзнаменование, выклеивающей глаза и мозг (то есть ослепляющей и лишаящей разума). Иными словами, ворон – слепая любовь, отнимающая у человека разум. По другим толкованиям, название это идет от испанского corbacho, что означает бич, хлыст. Первое представляется более правдоподобным. (комментарии Н. Томашевского)

[1]

То есть Боккаччо прямо заявляет, что назначение книги исключительно моральное.

[2]

Во времена Боккаччо библейский Авессалом воспринимался как образец красоты, подобно тому как Самсон – силы и Соломон – мудрости.

[3]

Очевидно, автобиографический мотив. Отец Боккаччо мечтал сделать из сына коммерсанта, но не преуспел. Ничего не вышло и из занятий сына каноническим правом.

[4]

Речь идет о марте или конце февраля, так как, согласно флорентийскому календарю, новый год начинался 25 марта.

[5]

Комизм заключается в том, что в те времена этого никто не знал. Верховье Нила было открыто только в конце XVIII века, а до той поры это было одной из географических загадок.

[6]

Боккаччо, согласно распространенному тогда поверью, полагал, что было десять Сивилл.

[7]

Очевидно, что черных лебедей в Италии времен Боккаччо не существовало.

[8]

То есть возле Кастальского ключа, символа всякого человеческого знания.

[9]

Речь идет о гербах и других знаках, которые знатные семейства имели обыкновение выставлять на своих надгробиях в церквях.

[10]

Фабриций – римский полководец (III до н. э.), прославившийся своим бескорытием.

[11]

Александрия была в то время главным центром работорговли.

[12]

Характерное уподобление в системе эротического языка Боккаччо. Ср. аналогичные уподобления в «Декамероне» и «Фьезоланских нимфах».

[13]

Акри, последний оплот христиан в Палестине, взятый в 1291 году арабами.

[14]

Чангелла, флорентийка, дочь Арриго делла Тоза и жена Лито дельи Алидози из Имолы, упоминаемая Данте (Рай, XV, 128), прославилась своей безнравственностью. Оставшись вдовой, вернулась во Флоренцию, где вела бурную, полную любовных приключений жизнь. Умерла в 1330 году.

[15]

...ее преемницы, моны Дианы. – О какой именно Диане идет речь, исследователями точно не установлено. Полагают, однако, что Боккаччо имеет в виду аббатису делле Скальце (XIII век), которая прижила сына от казначея Главного флорентийского собора Маккьявелли.

[16]

Перечисляются славнейшие из героев рыцарских романов.

[17]

Один из центральных персонажей сказаний о рыцарях Круглого стола.

[18]

Боккаччо имеет в виду древнейшую семью Виттельсбахов, в течение веков определявшую судьбы Баварии. Королевский дом Франции – легендарная династия французских королей, идущая якобы от сына императора Константина до Карла Великого.

[19]

Джованна I, неаполитанская королева (с 1342 по 1382 г.), имевшая четырех мужей.

[20]

Сеталия была важным торговым портом на берегу Малой Азии, хотя ее огромная бухта была открыта всем ветрам. Отсюда и до конца пространного абзаца – сплошная развернутая эротическая метафора, рисующая физическую ненасытность и нечистоплотность дамы.

[21]

Сравнение с огромным флотом, который собрал неаполитанский король Роберто для отвоевания Сицилии у арагонцев.

[22]

То есть знаменитого вулкана Этна.

[23]

Характерный для Боккаччо сатирический выпад против испорченного духовенства.

[24]

Во времена Боккаччо Флорентийская республика управлялась синьорией, состоявшей из шести избираемых цехами приоров.

[25]

Капитолий – речь идет о дворце синьории. Сенаторы – наиболее влиятельные граждане Флоренции.

[26]

Бан, король Бенвича, отец рыцаря Ланселота.

[27]



В XIV веке было живо убеждение в том, что оскорбление не должно оставаться неотомщенным. См., например, Данте (Ад, XXIX, 16 – 36), где он корит себя за то, что не отомстил за убийство Джери дель Белло, своего родственника. Боккаччо отомстил обидчице своим «Вороном».

[28]

очевидный символ истины, озаряющей помутившийся разум Боккаччо.